



Семен
РЕЗНИК

ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ

*Академик
Ухтомский
и его биограф*

Семен Ефимович Резник Против течения. Академик Ухтомский и его биограф

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=11971039

Резник С. Е. Против течения. Академик Ухтомский и его биограф: документальная сага с мемуарным уклоном: Алетейя; Санкт-Петербурга; 2015 ISBN 978-5-9905768-4-1

Аннотация

Документальная сага охватывает более ста лет духовной жизни России под железной пятой царского, а затем советского режимов. В центре повествования – судьба великого физиолога, философа и религиозного мыслителя академика А. А. Ухтомского (1875–1942), а также его ученика и первого биографа В. Л. Меркулова (1908–1980) – историка науки, многолетнего узника ГУЛАГа. Читатели познакомятся с кругом ученых, писателей, религиозных и политических деятелей, чьи судьбы прямо или косвенно переплетаются с главными персонажами. В их числе брат А. А. Ухтомского епископ Андрей, расстрелянный в 1937 году; учитель А. А. Ухтомского Н. Е. Введенский; его ученики и ученицы (Н. В. Голиков, А. И. Бронштейн-Шур, И. И. Каплан). Даны литературные портреты академика И. П. Павлова, его ученицы и возлюбленной М. К. Петровой, ведущих «павловцев» (Л. А. Орбели, К. М. Быкова, А. Д. Сперанского, П. К. Анохина). Представлены солагерники В. Л. Меркулова: поэт Осип Мандельштам, литературовед В. Ф. Переверзев, академик Е. М. Крепс. В числе действующих лиц Максим Горький и его сын Максим Пешков, «меньшевиствующий идеалист» М. А. Деборин и сын Чан Кайши Цзян Цзинго, учитель И. П. Павлова И. Ф. Цион и швейцарский ученый XVIII века Альбрехт Галлер. Читателям предстоит побывать на заседаниях Поместного Собора РПЦ в судьбоносном 1917 году и на Павловской сессии двух академий 1950 года, пережить – вместе с Ухтомским – два ареста и блокаду Ленинграда (которую он сам не пережил); узнать – вместе с Меркуловым – почем фунт лиха в сталинских лагерях и как живет-может быть бывшему зэку, «пораженному в правах»; каково прорываться сквозь колючую проволоку цензуры и сквозь лицемерие титулованных чиновников от науки и литературы.

В книге широко используются неизвестные и малоизвестные материалы, в том числе переписка автора с В. Л. Меркуловым, считавшаяся утерянной.

Содержание

От автора	5
Часть первая	6
Глава первая. Вхождение в тему	6
Глава вторая. В. Л. Меркулов – начало жизни	11
Глава третья. В Ленинградском университете	15
Глава четвертая. В. Л. Меркулов: первое знакомство	20
Глава пятая. Любви все возрасты покорны	27
Глава шестая. «Душечка» и Душа	36
Глава седьмая. «Грешный епископ Андрей»	53
Глава восьмая. Большевики	58
Конец ознакомительного фрагмента.	63

Семен Резник

Против течения. Академик Ухтомский и его биограф

© С. Е. Резник, 2015

© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2015

* * *

«Человек всегда недоволен своим положением и всегда очень доволен своим умом и пониманием», – писал Л. Толстой. Я всю жизнь стремился быть довольным своим положением и всегда был недоволен умом, теоретическими построениями, – тем, что называется у людей пониманием.

А. А. Ухтомский

Письмо Е. И. Бронштейн-Шур от 24 мая 1927 г.

Я ведь стал уже «заметным историком науки», хотя и живу против течения.

В. Л. Меркулов

Письмо автору от 12 сентября 1973 г.

Бедный мой Вася! Если бы Вы знали, какая трудная судьба выпала на его долю! Это был замечательный добрый и честный человек.

А. В. Меркулова-Яицких

Письма автору от 11 июня 1981 г.

От автора

Эта книга родилась из моей неожиданно найденной переписки с Василием Лаврентьевичем Меркуловым, которую я считал утерянной. В. Л. Меркулов – доктор наук, физиолог и историк науки, автор первой биографии академика А. А. Ухтомского и многих других трудов по истории физиологии. Мы активно переписывались в течение восьми лет, с 1972-го, когда познакомились, и до последних дней его жизни, оборвавшейся в 1980-м. Первоначальным моим побуждением было написать небольшое эссе о моем старшем друге, давно и незаслуженно забытом. Но замысел стал расти, шириться, мне пришлось заново окунуться в научное и философское наследие Ухтомского, в судьбы персонажей других работ Меркулова, в общественно-политическую и духовную жизнь дореволюционной и послереволюционной России, особенно в ее научную среду.

Сюжетной канвой книги стала судьба двух неординарных, хотя и разнокалиберных личностей – академика А. А. Ухтомского и его биографа В. Л. Меркулова. В канву повествования влились лица, прямо или косвенно связанные с главными персонажами: ученые, политики, писатели, религиозные деятели, издатели... В их числе брат Ухтомского епископ Андрей, его учитель профессор Н. Е. Введенский, профессор Н. В. Голиков и другие его ученики и ученицы, академики И. П. Павлов, Л. А. Орбели, А. Д. Сперанский, П. К. Анохин, Е. М. Крепс, А. М. Горький, Н. И. Бухарин, поэт Осип Мандельштам, учитель Павлова И. Ф. Цион, философ М. А. Деборин, литературовед В. Ф. Переверзев, сын Чан Кайши Цзян Цзинго (он же Н. В. Елизаров), писательница И. Грекова, писательница М. Шагинян, президент АН СССР С. И. Вавилов, вереница других. Рассказано о судьбоносных для науки и духовной жизни России событиях, памятных и почти забытых, таких как Поместный Собор Русской православной церкви 1917 года, блокада Ленинграда, Павловская сессия АН и АМН СССР 1950 года, ее последствия для судеб науки и некоторых ученых.

В книге нет вымышленных персонажей или вымышленных сцен. Все персонажи названы подлинными именами, все их поступки, мысли, чувства, взаимоотношения строго задокументированы.

Если я не сильно обольщаюсь, то книга должна быть интересна широкому кругу интеллигентных читателей – всем, кто хочет знать правду о духовной жизни советской и досоветской России.

* * *

Некоторые страницы этой книги не могли бы быть написаны, если бы не помощь со стороны В. Я. Бириштейна (Нью-Йорк) и Т. М. Бириштейн (Санкт-Петербург). Выражаю им сердечную благодарность. Я также благодарен издателю и редактору сетевого издания «Семь искусств» Евгению Берковичу, издателю и редактору журнала «Мосты» (Франкфурт-на-Майне) Владимиру Батиеву, издателям и редакторам журнала «Время и место» (Нью-Йорк) Игорю Шихману и Давиду Гаю, щедро открывшим страницы своих изданий для публикации глав первоначального варианта рукописи. Поддержка и критические замечания читателей служили важным стимулом, в работе и помогли выправить некоторые неточности. Особенно ценны и дороги для меня отзывы друзей и коллег: В. И. Порудоминского, И. А. Дегена, М. Бороды, М. Авербуха, Ю. Солодкина, В. Цесиса. И совершенно особая признательность моей жене Римме Резник, обнаружившей переписку с В. Л. Меркуловым, в нашем семейном архиве и деятельно помогавшей мне на протяжении всех трех с лишним лет работы над рукописью.

Часть первая

Глава первая. Вхождение в тему

1.

В конце 1971 или в начале 1972 года ко мне в редакцию серии ЖЗЛ пришла пожилая женщина – седовласая, не по годам стройная, в строгом сером костюме, с короткой молодежной стрижкой. Представилась: Елена Исааковна Бронштейн-Шур, кандидат биологических наук, физиолог, ученица академика Алексея Алексеевича Ухтомского. Она сказала, что переписывалась с учителем и письма его сохранила. Выдержки из них, со своим предисловием, она хочет предложить для альманаха «Прометей», издававшегося серией ЖЗЛ. Она, видимо, впервые была в редакции литературного издания и чувствовала себя скованно. Она положила передо мной тоненькую папочку и тотчас ушла.

Заваленный работой, я не сразу взялся за чтение. Ничего особенного я от этой рукописи не ждал. Об Ухтомском я знал именно как о крупном физиологе. Что могла представлять его переписка с ученицей? Обсуждение экспериментов, ее дипломной работы, диссертации? Интересно ли это широкому читателю, на которого рассчитано наше издание?

Но, приступив к чтению, я не мог оторваться. Письма охватывали период с апреля 1927 по июнь 1941 года, но в них не чувствовалось дыхания того бурного времени, словно это были послания с другой планеты. Автор писем жил напряженной внутренней жизнью, не имевшей ничего общего с боевым духом кипучих будней и еще более кипучих революционных праздников. В его лексиконе не было ни *пятилеток*, ни *ударников*, ни *соцсоревнования*, ни *антагонистических противоречий*, ни *перековки*. Хотя писал он в основном именно о перековке, перестройке человеческого сознания и поведения.

Я попал на пиршество свободной, независимой, постоянно ищущей мысли.

Поражала бездонная эрудиция автора писем, превосходный литературный язык, глубокое знание истории, философии, художественной литературы, поэзии, музыки, причем в обсуждаемых произведениях Ухтомский вскрывал неосвоенные глубины смыслового, эстетического и этического содержания. Все это перемежалось воспоминаниями из личной жизни, раздумьями о миссии человека на земле, о жизни и смерти, и было окрашено необычайным теплом, добротой, участием по отношению к ученице, к другим ученикам, вообще к *человеку*.

Вырисовывался образ необыкновенной личности, с могучим умом и щедрым сердцем. Личности, готовой понять, помочь и согреть своим участием каждого встречного, ибо «каждый из нас – только всплеск волны в великом океане, несущем воды из великого прошлого в великое будущее». Какого бы вопроса ни затрагивал академик, хотя бы невзначай, мимоходом, его высказывания поражали оригинальностью, незаёмностью, органичным слиянием мысли и чувства.

Например:

«Сказать ли Вам одну мою затаенную мысль, даже не мысль, а мелодию, которая скрывается в моей душе и так или иначе всегда влияет на нее? Мне затаенно больно и страшно за людей, когда они радостны, потому что меня охватывает тогда жалость к ним, – потому что я знаю, что вот этому милому и радостному сейчас существу скрыты те горести и печали,

которые уже таятся в этом самом хронотопе¹, который его окружает, уже растет то дерево, из которого будет изготовлен его гроб, уже готова та земля, в которой будут лежать его кости. Вот оттого так думается в жаркое лето об осенней стуже, чтобы зимой и осенью вспоминать о солнечном лете!»

Или:

«Знаете, – я с громадным страхом подхожу к музыке, особенно такой, как Бетховен. Ведь тут все самое дорогое для человека и человечества. И безнаказанно приближаться к этому нельзя, – это или спасает, – если внутренний человек горит, – или убивает, если человек слушает только из «своего удовольствия», т. е. не сдвигаясь больше со своего спокойного самоутверждения <...> Бетховен творил не для человеческого «удовольствия», а потому, что страдал за человечество и будил человека бесконечными звуками, когда сам оглох».

Или еще:

«Совершенно очевидно, что если человек не будет открыт к каждому встречному человеческому лицу с готовностью увидеть и оценить его личное прекрасное, с чем он пришел в мир, чтобы побыть в мире и внести в мир нечто, исключительно ему присущее, – такой человек не сможет узнать и Сократа, и Спинозу, когда они реально к нему приблизятся. Такой человек – реалист, приписывающий реальность и значимость только своим мыслям, будет наказан тем, что пропустит мимо себя, как эфемерность, и Сократа, и Спинозу, и самое прекрасное, что может вместить мир!»

Или еще:

«“Странным” для окружающей жизни я был всегда, всегда. Оттого-то и не мог в нее влиться. Всех любил, но ото всех был отдельно: любил людей, но не любил их склада жизни, – ревниво и упорно не хотел жить так, как у них “принято”».

Сказать, что я с интересом прочел эту рукопись, значит – ничего не сказать! Я был ошеломлен. И покорен своеобразием этой личности, глубиной суждений о жизни, о науке, о человеческом сознании и подсознании, о назначении человека. Я «заболел» Ухтомским и, должен признаться, что продолжаю им «болеть» до сих пор.

Я тотчас отнес рукопись тогдашнему шефу редакции ЖЗЛ Сергею Николаевичу Семанову: опубликовать или не опубликовать ее в «Прометее» зависело от него. Я надеялся, что зарубить такой уникальный материал у него не поднимется рука. Увы, поднялась. Он гнул в редакции так называемую национал-патриотическую линию; гуманистическая, сострадательная философия Ухтомского была ему не просто чужда – противопоказана. Как, конечно, и фамилия адресата писем.

Кое-какие возможности у меня были и за пределами собственной редакции. Я позвонил в отдел публицистики «Нового мира» Игорю Дуэлю – мы с ним были дружны – и сказал, что имею для него великолепный подарок.

Это был уже *не тот* «Новый мир», что при А. Т. Твардовском, но еще не тот, каким он стал через несколько лет при С. С. Наровчатове. Главным редактором журнала был В. А. Косолапов, номенклатурный литературный чиновник с «лица не общим выраженьем». В начале 1960-х, будучи главным редактором «Литгазеты», он дал добро на евтушенковский «Бабий яр», отчетливо сознавая, что ему это даром не сойдет. Из газеты его уволили, но обошлись на удивление милостиво: сослали в тихую гавань – директором Гослитиздата, издававшего классику, где он и отсиживался много лет. Почему именно его *бросили* на разгромленный «Новый мир», – эта тайна мадридского двора мне неизвестна. Можно лишь не сомневаться, что такое решение было принято неспроста. Отдать вчерашнюю цитадель уме-

¹ Хронотоп – одно из важнейших научных понятий, введенных Ухтомским в физиологию. Оно означает среду, с которой взаимодействует живое существо, причем имеется в виду не только пространственная, но и временная составляющая этой среды. Оно созвучно понятию четырехмерного пространства-времени в физике.

ренного, но непокорного либерализма прямо в руки национал-сталинистов типа В. Кочетова или А. Софронова кремлевские мудрецы, по-видимому, посчитали неполитичным. Пилюлю решили подсластить, вот и вспомнили о Косолапове. Но его обложили политкомиссарами вроде первого зама Д. Большова, прославившегося тем, что самолично зарубил постановку в Театре на Таганке «Теркина на том свете». Прорваться через такой заслон свежему, независимому и просто талантливому слову было очень трудно. Но усилиями таких сотрудников, как Игорь Дуэль, кое-что прорывалось. Письма Ухтомского ему удалось пробить². Я также рекомендовал их Даниилу Данину, который входил в редколлегию литературных сборников «Пути в незнаемое». Там они тоже были опубликованы³.

На этом мои контакты с Еленой Исааковной Бронштейн-Шур прекратились. Она так же незаметно исчезла с моего горизонта, как появилась. Попытки навести о ней справки в интернете дали отрицательный результат: имя ее упоминается только в связи с публикацией тех самых отрывков из писем ее учителя. Других ее публикаций или биографических данных о ней мне обнаружить не удалось.

За постсоветские годы в России вышел ряд сборников, составленных из дневниковых записей и писем А. А. Ухтомского, воспоминаний о нем. Первый сборник появился в 1992 году⁴. Его составил Ф. П. Некрылов – ученик А. А. Ухтомского. Фамилия составителя в траурной рамке: до выхода книги он не дожил. В этом издании перепечатана вступительная статья Е. И. Бронштейн-Шур к письмам ее учителя в несколько расширенной редакции: признак того, что при подготовке сборника она была жива. Но сборник готовился еще к столетнему юбилею Ухтомского, то есть к 1975 году, тогда не вышел, потом в него еще что-то добавляли, так что время появления новой редакции статьи установить трудно. Подлинники писем Ухтомского к ней не разысканы: во всех дальнейших изданиях они воспроизводятся в тех же извлечениях, с какими она когда-то пришла ко мне.

Между тем, было бы интересно заглянуть в опущенные ею фрагменты. Часть из них она удалила, скорее всего, из-за их цензурной непроходимости, часть – по личным мотивам. Они могли бы раскрыть такие грани ее взаимоотношений с учителем, которые едва угадываются. Но они приоткрываются в наброске письма без даты, возможно, не отправленного, которое обнаружено в архиве Ухтомского нынешними исследователями:

«Я хотел бы быть дождем для того удивительного и прекрасного растеньица, которое я встретил в Вас и так люблю в его чистоте, естественности и красоте. Хотел бы дать ему все то, что нужно его природе, чтобы оно росло и цвело далее и далее на радость людям. И мне не надо, чтобы Вы меня замечали, чтобы я играл какую-нибудь сознательную роль в Вашем сознании. Какое-то чувство говорит мне, что я все испортил бы своею персоною, если бы вошел в Вашу жизнь как-нибудь неосторожно. Вот растение не сознает ведь, что дождь ему что-то дает. Мне и хочется быть таким дождем для Вас, т. е. давать Вам лучшее, что у меня есть, а Вы бы не знали и не замечали это». И дальше: «Кажется, я был в Вас влюблен. Иначе не назвать то нетерпеливое и мучительное чувство, которое было во мне в 1926–27 году. На это надо смотреть как на последнюю вспышку так называемой личной жизни перед старостью. Но дело не в ней. Дело в том, что я Вас очень глубоко любил, люблю и буду любить чисто человеческим приветом, лучшей стороной моего существа»⁵.

Такое трогательное объяснение в любви! Оно наверняка было известно первому биографу А. А. Ухтомского В. Л. Меркулову, который пропахал архив учителя вдоль и поперек.

² «Новый мир», № 1, 1973.

³ «Пути в незнаемое», Выпуск 10, М., «Советский писатель», 1973, стр. 371–435.

⁴ А. А. Ухтомский в воспоминаниях и письмах. Составитель Ф. П. Некрылов. Спб., Изд-во С.-Петербургского университета, 1992.

⁵ А. Ухтомский. Доминанта души. Из гуманитарного наследия, «Рыбинское подворье», 2000, стр. 535.

В моей переписке с Василием Лаврентьевичем (о ней ниже) я обнаружил новогоднюю поздравительную открытку, полученную им от Е. И. Бронштейн-Шур и пересланную мне. Открытка проливает неожиданный свет на ее отношения с учителем. Вернее, свет проливает комментарий к ней В. Л. Меркулова. Открытка датирована 25 декабря 1977 году. Вот ее текст:

«Дорогой Василий Лаврентьевич, спасибо за новогодний привет. Я присоединяюсь к Вашему пожеланию, чтобы Новый год был щедрым на хорошие события. Вам и Альбине Викторовне⁶ желаю здоровья бодрости и душевной ясности. У меня в жизни этим летом произошло важное и радостное событие – мы с мужем отметили нашу «золотую свадьбу», что редко бывает в наши дни. Еще раз искренне желаю всего хорошего. Е. И.»

Обычное новогоднее поздравление, какие мы все отправляли и получали десятками. Чего не учла Елена Исааковна, так это то, что писала историку, чуткому к датировкам, к тому же – биографу их общего учителя.

«Nota Bene, – приписал прямо на открытке Василий Лаврентьевич, адресуясь уже ко мне. – Брак летом 1927 г. и энергичный флирт с наивным учителем!!!» А в сопроводительном письме более развернуто: «Позавчера я получил открытку от Е. И. Бронштейн-Шур – посылаю ее как подтверждение, что она играла чувствами А. А. [Ухтомского], будучи в брачном союзе с Шуром летом 1927 года! Ему [Ухтомскому] было 52 года, он писал ей нежные письма: «Моя Академия etc.» – а она не разглашала о своем браке! Экая хитрая девица!! Не знала, м. б., мужа по боку и буду профессоршей?? Можно ли доверять девушкам? Можно, да не всем!»⁷.

2.

С ленинградцем Василием Лаврентьевичем Меркуловым я, москвич, виделся всего несколько раз – при его редких наездах в Москву и моих тоже не частых наездах в Питер. Но на протяжении восьми последних лет его жизни нас связывали очень теплые отношения. Они подогревались с обеих сторон «путем взаимной переписки». Эта переписка лежит сейчас передо мной. В ней много пробелов: некоторые его письма упоминаются, но физически отсутствуют. Мои ответные письма тоже представлены едва ли наполовину. На некоторые его послания я отвечал от руки, в одном экземпляре, но и копии машинописных ответов уцелели не все.

Как вообще они у меня оказались? Эту загадку я разгадать не в силах.

Покидая Советскую Россию в сентябре 1982 года, я не мог вывезти ни библиотеки, ни, тем более, архива. Неопубликованные рукописи и некоторые материалы я переснял на фото пленку, негативы удалось нелегально переслать друзьям в Штаты – около двух тысяч страниц. Но переписку с Меркуловым собрать и переснять я не успел. Папки с бумагами, которые рука не поднималась выбросить, я раздал друзьям, согласившимся их приютить. С какой целью – самому было неясно: ведь никому кроме меня они нужны не были, а я уезжал навсегда, с концами, будучи особо предупрежден в ОВИРе, что *никогда и не при каких обстоятельствах* не смогу вернуться.

Это пророчество не сбылось. С перестроечных лет я многократно бывал в России и даже привез несколько оставленных папок. Но не помню, чтобы в них были письма Василия Лаврентьевича Меркулова. Вернее, помню, что их не было. Да и не в этих папках они оказались. Пару лет назад, пытаясь навести порядок в бумагах, накопившихся уже здесь, в Штатах, я наткнулся на несколько писем Меркулова, потом еще и еще, иногда с подколотыми машинописными копиями моих ответов. Эти копии выглядят однообразно – на стандартных

⁶ Альбина Викторовна Яицких – жена В. Л. Меркулова.

⁷ Архив автора. Письмо В. Л. Меркулова от 3 января 1978 г.

листах писчей бумаги, изрядно пожелтевшей от времени, некоторые с более, некоторые с менее четким шрифтом. (Копировальная бумага была дефицитом, ее приходилось использовать многократно.) Письма Меркулова выглядят свежее моих ответов. Часть из них напечатана на полупрозрачной папиросной бумаге, от времени, как оказалось, не желтеющей. Другие написаны от руки, черными чернилами, на такой же папиросной бумаге или на тетрадных листках. А больше всего открыток – плотных, исписанных особенно мелко, чтобы больше текста вместить. Василий Лаврентьевич предпочитал посылать открытки – считал, что они быстрее доходят. Расшифровать письма Меркулова, написанные мелким, едва разбираемым почерком (таких больше половины) мне стоило немалого времени и труда, но отдельные места остались нерасшифрованными, впрочем, таких немного.

Повторяю, что не имею понятия о том, как эта переписка оказалась у меня в Вашингтоне. Мистика. Вмешательство потусторонних сил! Я не мог воспринять его иначе, как повеление свыше – рассказать об этом многострадальном Иове и о его великом учителе.

Глава вторая. В. Л. Меркулов – начало жизни

1.

Я никогда не расспрашивал Василия Лаврентьевича о подробностях его биографии, так что знаю ее лишь лоскутно, по отдельным вкраплениям в его письмах и разговорах: в основном-то они касались текущих проблем и забот.

В одном из писем 1976 года он упомянул о том, что 3 февраля ему исполнилось 68 лет, с чем я его и поздравил. Стало быть, родился он 3 февраля 1908 года, то есть принадлежал к поколению моих родителей: был на четыре года моложе моего отца и на два года старше матери.

Не могу назвать с точностью место его рождения, но скорее всего, это был город Иваново-Вознесенск, где прошли его детские и юношеские годы.

До революции это был заштатный городок Владимирской губернии, не имевший даже статуса уездного (входил в состав Шуйского уезда). Да и городом он стал только в 1879 году, в результате слияния села Иванова, что на реке Уводи (приток Яузы), с Вознесенским посадом.

Здесь закладывались ранние очаги российской промышленности, в основном текстильной. Так, крупному иваново-вознесенскому фабриканту и меценату Д. Г. Бурылину, 1852 года рождения, не пришлось начинать свое дело с нуля: первую ситценабивную фабрику он унаследовал от деда, другие перешли к нему от отца; к ним уже добавлялись новые.

После отмены крепостного права начался бурный рост российской промышленности, и в первую голову таких ее очагов, как село Иваново и Вознесенский посад. Расширяясь, они двигались навстречу друг другу, пока не слились в одно целое. Здесь строились новые ткацкие фабрики, укрупнялись старые; вместе с ростом промышленности пополнялись ряды рабочего класса. Во второй половине XIX века Россия переживала демографический взрыв: рождаемость была высокой, а детская смертность пошла на убыль благодаря вхождению в жизнь элементарных правил гигиены. Недостатка дешевых рабочих рук для фабрик не было: шел приток избыточного населения из нищающих деревень.

На рубеже 19–20 веков положение рабочих в Иваново-Вознесенке было ужасающим. Полукустарное производство требовало малоквалифицированного ручного труда. Оплачивался он низко, причем копеечные заработки ополовинивались штрафами, кои накладывались на все – от нерасторопности на производстве до неисправного посещения церкви по воскресеньям. В тесных, не проветривавшихся помещениях рабочие по 12–14 часов в день дышали хлопковой пылью, испарениями красителей и кислот, нередко доводившими до обморочного состояния. В сушильных отделениях работать приходилось при температуре до 60° Цельсия. Теснота в цехах приводила к частым травмам. Профессиональной болезнью ткачей была чахотка, в то время неизлечимая. На свои заработки рабочие не могли снимать квартир и даже комнат, снимали «углы» или ютились в наскоро сколоченных, грязных, никогда не ремонтировавшихся бараках-общежитиях. За десять-пятнадцать лет работы на фабрике ресурс здоровья бывал исчерпан, и рабочего выкидывали на улицу. Эти сведения – не из писаний большевистских пропагандистов об ужасах капитализма, а из исследования жизни текстильщиков в журнале «Образование» за 1905 год (автор Н. Воробьев).

Хорошо обученных и обладавших высокой квалификацией мастеровых хозяева ценили не так, как чернорабочих. У них заработки были иные, жили они в собственных домах, с палисадниками, держали скотину, домашнюю птицу. Но основную массу трудяг составляла не эта *рабочая аристократия*, а голь перекатная – та самая, которой нечего терять кроме

цепей. Она была особо восприимчива к революционной агитации, ее нетрудно было подбить на волнения, беспорядки, стачки.

Бесноватый большевистский вождь жадно вглядывался в город ткачей из эмигрантского далека в надежде, что именно здесь вбрасываемые им «Искры» возгорятся в пламя революционного пожара. Не зря надеялся! Весной 1905 года Иваново-Вознесенск был парализован всеобщей забастовкой, здесь возник первый городской Совет рабочих депутатов (знаменитый Петросовет появился позднее!). В центре города, на торцевой стене одного из многоэтажных зданий, на большой высоте, чтобы видно было издалека, до сих пор красуется барельеф Ильича с вычеканенным под ним текстом: *«Пролетариат московский, питерский и иваново-вознесенский... доказал на деле, что никакой ценой не уступит завоевания революции»*.

Цену за эти завоевания пришлось заплатить непомерную. После Октябрьского переворота предприятия стали, десятки тысяч ткачей лишились своих жалких заработков. В городе шли поиски «врагов», с ночными обысками, облавами, арестами правых и виноватых, бессудными расстрелами. Когда ткачи, осознав, в какую пропасть затолкали их большевики, вышли на улицу с требованием свободных выборов в советы, рабоче-крестьянская власть устроила им такую кровавую баню, что казацкие нагайки и ружейные залпы, коими угощали стачечников при проклятом царском режиме, вспоминались как детские забавы.

Был ли отец Василия Лаврентьевича чернорабочим, мастеровым или (чем черт не шутит!) предпринимателем, мне неизвестно. Скорее всего, он был скромным конторским служащим или фельдшером, или школьным учителем, чей небольшой заработок позволял доставлять пропитание семье.

Семья у Лаврентия Меркулова была большая, но над нею тяготел неумолимый рок. Как написал мне однажды Василий Лаврентьевич, до 1916 года его родители похоронили восьмерых сыновей и трех дочерей. Отец был раздавлен горем. «По воскресеньям [он] посещал кладбищенскую церковь на окраине Иванова-Вознесенска и долго сидел у могил»⁸. Мать посылала Васю, единственного оставшегося сына, на кладбище – уговаривать отца идти домой. Отец подолгу сопротивлялся, но Вася все-таки его уводил.

2.

Не знаю, где Вася учился, но знаю, что рос он любознательным мальчиком. Бывал, например, в музее, созданном местным Третьяковым – уже упоминавшимся меценатом Д. Г. Бурылиным.

Дмитрий Геннадьевич Бурылин был одним из тех редких самородков, которыми издревле держалась русская земля.

Принадлежал он к купеческому роду, придерживался старой веры с ее строгими нравами и особой суровой закваской. От деда к Бурылину перешла не только фабрика, которой он стал управлять в четырнадцать лет, но и такое напутствие:

«Жить не зависит от нас, а хорошо жить от нас зависит. Познания свои должно употреблять на истинную пользу и благо своих ближних и Отечества. Доверчивость – качество благородное и великодушное, существует в одних чистых душах. Тщетно суетный и развращенный свет старается делать её смешною, опасность её предпочтительнее несчастий, следующих за противным ей пороком. Доверчивые люди бывают иногда обмануты, но те, кои проводят жизнь в недоверчивости, находятся беспрестанно в жалостном состоянии. Надежда на Бога есть лучшая подпора в жизни. Несчастия научают нас Благоразумию»⁹.

⁸ Архив автора, письмо В. Л. Меркулова от 1 апреля 1980 г.

⁹ Цит. по: Википедия, статья «Д. Г. Бурылин».

Следуя этому завету, Бурылин устраивал бесплатные столовые для детей бедноты, слал щедрые подарки в сиротские приюты, насадил липовые аллеи на двух центральных улицах города, конечно, жертвовал немалые суммы церквам. Деревянную церквушку XVII века, подлежащую сносу, он спас от уничтожения, перенес ее на Успенское кладбище, где, как говорят, она стоит до сих пор.

Главным делом жизни Д. Г. Бурылина было собирание редкостей, во что он вкладывал всю свою страсть и значительную часть барышей. Он так и говорил: «Музей – это моя душа, а фабрика – источник средств для жизни и его пополнения».

Здание музея строилось в 1912–15 годах, на глазах подраставшего Васи Меркулова. Бурылин подарил его городу – вместе с размещенной в нем коллекцией.

Какую-либо систему в коллекционировании Бурылина отыскать трудно. В музее нашли принят его археологическая коллекция, этнографическая коллекция, нумизматическая коллекция, коллекция курительных трубок, коллекция чернильниц (!), игральные карты (!), одежды, женских украшений, икон, редких книг, часов, картин и гравюр. Википедия особо отмечает его «масонскую коллекцию», в которой были масонские знаки разных стран, символические одежды, рукописи, книги, а также оружие и предметы для посвящения в рыцари»¹⁰. В 1920-х годах эту коллекцию передислоцировали в Эрмитаж, видимо, как наиболее ценную. Именно об этой коллекции написал мне однажды Василий Лаврентьевич: «Д. Г. Бурылин скупил редкие шотландские рукописи масонов и попутно регалии Гроссмейстера Мальтийского ордена Павла I»¹¹. В этом же письме такая характерная для времени подробность: «За участие в заседании ложи масонов в 1929 году мой товарищ по общежитию был исключен из рядов, а вся ложа осела!»¹². Большевицкие власти бдительно хранили ценные масонские реликвии, но не могли допустить масонской деятельности, как и никакой другой, им не подконтрольной.

Фабрики Бурылина советская власть национализировала, его большой двухэтажный особняк – реквизировала, музей стал собственностью города и был переименован в Иваново-Вознесенский городской музей. К счастью, самого Дмитрия Геннадиевича в расход не пустили. Его определили хранителем музея, который пролетарская власть прихватирила, но сама не могла им управлять. К 1924 году власть, наконец, решила, что может обойтись без *буржуазного специалиста*. Бурылина ложно обвинили в хищении музейных экспонатов и уволили. Нового удара судьбы он не смог перенести. Ареста он избежал только потому, что вскорости умер.

Как Меркуловы пережили лихую годину войн и революций, Василий Лаврентьевич не упоминал, написал только, что «27 августа 1921 года он [отец] умер от рака, и я сам сколотил ему гроб, а потом свалилась мать, и 19 января 1923 года я превратился в круглого сироту! После похорон матери у меня были тягостные галлюцинации, мне казалось, что за мной приходил отец и тянул на кладбище?!»¹³

Так 15-тилетний подросток остался один-одинешенек на всем белом свете – среди зимы, в холодной и голодной стране, разоренной революционной смутой, гражданской войной и обрушившимся после нее страшным голодом. Чем он кормился, как выжил, как не угодил в одну из трудовых колоний для беспризорных, каковые в ударном порядке создавались ведомством Дзержинского (а, может быть, угодил!), – об этом никаких упоминаний в его письмах нет.

¹⁰ Там же.

¹¹ Архив автора, письмо В. Л. Меркулова от 12 апреля 1980 г.

¹² Там же.

¹³ Там же, то же письмо.

А о чем мечтал осиротевший подросток, кем видел себя в будущем?

Об этом случайно обронил несколько строк в одном из писем – в связи с согревшим его душу подарком: книгой «Археология на дне моря» «с дивными рисунками и фото». Листая книгу, он вспомнил:

«Когда-то я мечтал стать археологом, но затем мне дали на лето 1924 года плохонький микроскоп, и я махнул рукой на археологию. А ведь мои соклассники ездили с Экземплярским в Боголюбове и Суздаль летом 1925 делать первые раскопки!»¹⁴.

Кто такой Экземплярский?

В интернете я не нашел упоминаний о таком археологе. Если допустить, что Меркулов описался, пропустил букву в фамилии, то поиск выводит на Василия Ильича Экземплярского (1875–1933), приват-доцента, затем профессора Киевской духовной академии. В 1912 году он был из нее уволен за статью, в которой, критикуя учение Льва Толстого, позволил себе положительно отзываться о его нравственной проповеди. Но в 1917 году был восстановлен. Википедия называет В. И. Экземплярского религиозным философом, богословом, публицистом, коллекционером изображений Иисуса Христа, коих он собрал более 10 тысяч. Но никаких сведений о том, что он был также археологом, я не обнаружил. К тому же в 1920 году он ослеп. Словом, к раскопкам в Суздале и Боголюбове, о которых упоминает Василий Лаврентьевич, он отношения иметь не мог. Да ведь и Вася Меркулов в них не участвовал. Его заморозил микроскоп, он решил стать биологом.

¹⁴ Там же, письмо В. Л. Меркулова от 28 ноября 1978 г.

Глава третья. В Ленинградском университете

1.

В 1926 году 18-летний Василий Меркулов появляется в Ленинграде и становится студентом университета.

Университет находился на Васильевском острове, в узком и бесконечно длинном трехэтажном здании бывших 12 петровских коллегий. Здание было выкрашено в темно-красный, с прочернью, цвет. Узким фасадом оно выходило к Неве. На другом берегу, зеркально отражаясь в свинцовой воде, стоял во всей своей барочной красе Зимний Дворец – тоже темно-красного, с прочернью цвета: так незадолго до революции были выкрашены казенные здания Петрограда.

О том, как в те годы жили и учились студенты, которым неоткуда было ждать помощи, я немного знаю по рассказам моей матери о ее старшем брате (моем дяде) Михаиле Соломоновиче Сороцком. Он приехал в Москву из маленького еврейского местечка на Украине. При зачислении в университет ему, в качестве стипендии, предложили на выбор: общежитие и завтрак или обед и ужин. Жить было негде, и он выбрал общежитие и завтрак. На обед и ужин зарабатывал по ночам – разгрузкой железнодорожных вагонов. Желающих разгружать вагоны было много, а вагонов – мало, так что заработать удавалось не каждую ночь, потому и обедать приходилось не каждый день.

О Ленинградском университете той поры оставила воспоминания известная писательница И. Грекова, она же – крупный математик Елена Сергеевна Вентцель, в девичестве Долгинцева. Она была всего на год старше В. Л. Меркулова, но поступила в университет тремя годами раньше, 16-летней, благодаря выдающимся способностям и более благополучному детству.

Жизнь университета кипела в тянувшемся на всю длину здания коридоре второго этажа. Коридор был «полон людьми, встречами, радостями. Называли мы друг друга только что приобретенным словом «коллега» (какое счастье!)», вспоминала И. Грекова. «Человек, стоявший в другом конце коридора, казался отсюда букашкой. Вдоль коридора шли, смеясь и радуясь, студенты всех факультетов. Шли, нарядные и напудренные, белея носами, студентки-фоновки («Фоном» тогда назывался филологический факультет). Шли студенты-биологи с какими-то клетками, где, кажется, трепетали птицы. Вдоль стенок коридора стояли всегда запертые книжные шкафы (не библиотечные, книги из них никому, сколько я понимаю, не выдавались). Они стояли, как бы мигая тусклой кожей старинных переплетов со следами кое-где сохранившейся позолоты. Идя по коридору, мы погружались в затейливую старину».

Студенческая жизнь запомнилась И. Грековой сплошным праздником, «этаким нескончаемой вольницей». Не в последнюю очередь, потому, что на ее математическом отделении из 280 студентов было всего пять девушек. «Естественно, вниманием мы пользовались необычайным. Группа мужчин и одна девушка. «Собачья свадьба» – бурчал недовольно старик-сторож у парадного входа. Так и помню наше человеческое стадо, перебегающее по Дворцовому мосту на другой берег Невы, наши шутки, наши анекдоты, наш непрекращающийся смех. Все почему-то казалось тогда смешным до уморы».

«В те времена мы совсем не чувствовали страха, – продолжает писательница-математик. – Отсутствие страха – главная черта тех времен. Голод и отсутствие страха». «Мы полуголодные, а то и вовсе голодные, студенты радовались жизни. НЭП только что вступил в свои права, в стране было много безработных, но заработать себе на жизнь не представляло

большого труда. Студенты-мужчины нашего факультета зарабатывали разгрузкой и погрузкой барж на Неве, железнодорожных вагонов (баржи считались выгоднее)»¹⁵.

Надо полагать, что разгрузкой барж и вагонов или чем-то подобным зарабатывал на полуголодное существование и *коллега* Е. С. Долгинцевой с биологического отделения Василий Меркулов. Что же до ощущения вольницы и отсутствия страха, то с этим было не так просто. Кроме второго этажа в бесконечно длинном университетском здании был еще третий. Там обитали «комсомольцы сверху <...> решавшие какие-то мировые проблемы». Они занимались «общественными» делами. И. Грекова об этом пишет с иронией, утверждая, что ее и ее *коллег* деятельность комсомольцев сверху никак не затрагивала. Но тут же она свидетельствует, что «нас перестраивали, а мы сопротивлялись. Сопротивлялась, как ее полуофициально называли, «белогвардейская профессура». Она свирепо отстаивала право студента ходить только на те лекции, которые он сам для себя выбирал»¹⁶.

Белогвардейскую профессуру и не очень красногвардейское студенчество *перестраивали* не только тем, что вводили обязательное посещение лекций. На профессуру то и дело налетали коршуны ГПУ, выхватывая жертвы из ее рядов и держа в постоянном напряжении пощаженных. Студенчество тоже периодически очищали от буржуазных, религиозных и прочих несознательных элементов: исключение студента за участие в масонской ложе было не единственным фактом такого рода.

Студенчество перевоспитывали всевозможными митингами, диспутами, литературными вечерами. Многие из них были интересны. Встреч с писателями Василий Меркулов старался не пропускать. Слушал выступления Маяковского, Безыменского, Жарова, Уткина, Кирсанова, Каверина. О том, что не смог попасть на вечер Николая Клюева, и через сорок лет вспоминал с сожалением.

В конце декабря 1976 года умер писатель Лев Иванович Гумилевский. Имя это не было на слуху. Сообщая печальную новость В. Л. Меркулову, я сопроводил ее небольшим пояснением:

«Ему минуло 86 лет, и печататься он начал в 1914 году. В 20-е годы он издал нашумевший тогда роман “Собачий переулочек”, за который его изрядно били, а потом выпустили его 5-томное собрание сочинений, так что он был тогда очень знаменит. С начала 30-х годов он стал писать биографии ученых и написал целую библиотеку. Я знал его последние 15 лет и думаю, что за всю свою жизнь он никому не сделал ни малейшей пакости или неприятности. Но он чуждался всякой околотитулярной возни, не командорствовал в Союзе писателей, не ходил на заседания, не имел литфондовой дачи... И, как результат, очень скромные, чисто семейные похороны без единого официального лица»¹⁷.

Оказалось, что Василию Лаврентьевичу имя Гумилевского было очень даже знакомо – с 1927 года, когда его «разоблачали» на студенческом митинге в актовом зале ЛГУ. Меркулов вспомнил, что вместе с «Собачим переулочком» Гумилевского тогда же «был погром», как он выразился, и опуса Пантелеймона Романова «Без черемухи». Писателей-«попутчиков» громили с самых передовых пролетарских позиций.

Проработочные митинги были неотъемлемой частью жизни университета. Василию Лаврентьевичу особо запомнился митинг – в том же 1927 году – по поводу «перехода на сторону империалистов» недавнего китайского друга советской страны Чан Кайши. Предателя Чан Кайши яростно клеймил... его родной сын Цзян Цзинго, он же Николай Владимирович Елизаров. Он «с трибуны проклинал отца, чтобы потом стать его опорой», сарка-

¹⁵ И. Грекова. Ленинградский университет в 20-х годах, <http://libelli.narod.ru/misc/lgu20.html>

¹⁶ Там же.

¹⁷ Архив автора. Письмо С. Е. Резника В. Л. Меркулову от 10 января 1977 г.

стично заметил Василий Лаврентьевич¹⁸. Можно только догадываться, что испытывал сын, произнося свои громовые проклятья, и что испытывали переполнявшие зал студенты, которых *комсомольцы сверху* накачивали такими *минутами ненависти*.

Этот чисто оруэловский эпизод я попытался прояснить по доступным источникам, и передо мной раскрылась поистине удивительная драма *загадочной китайской души*.

2.

Старший сын Чан Кайши Цзян Цзинго (1910–1988) 15-летним подростком был направлен на учебу в Москву, в Университет трудящихся Китая имени Сунь Ятсена – незадолго перед тем скончавшегося основателя либерально-социалистического движения Гоминдан. После кончины Сунь Ятсена движение возглавил Чан Кайши. Ленин и его окружение возлагали большие надежды на Гоминдан как на основную революционную силу Китая. В качестве автономного звена в Гоминдан входила и совсем еще молодая Компартия.

Сына главы Гоминдана в Москве приняли с особым почетом и для первоначальной адаптации поселили у старшей сестры Ленина Анны Ильиничны Елизаровой, потому он и стал Елизаровым. Николаем Владимировичем он стал в честь Ильича, который подписывал свои статьи псевдонимом «Николай Ленин».

Став студентом вновь созданного университета, Коля Елизаров тотчас вступил в комсомол, точнее, в КИМ – коммунистический интернационал молодежи. Вскоре он возглавил комсомольскую организацию университета. Между тем, в Китае все более острой становилась борьба (поначалу только идейная) между Гоминданом во главе с Чан Кайши и коммунистами во главе с Мао Цзэдуном, и она тотчас отозвалась в Университете трудящихся Китая. Студенты разделились на сторонников Гоминдана и сторонников компартии. В столкновениях этих двух групп сын Чан Кайши занял позицию несгибаемого коммуниста, а в столкновениях внутри коммунистического крыла между сторонниками Сталина и Троцкого он показал себя ярким троцкистом. Троцкисты, как известно, делали ставку на мировую революцию, что, конечно, китайским товарищам было ближе сталинского курса на построение социализма «в одной отдельно взятой стране».

К 1927 году борьба в Китае приняла силовой характер. Мао Цзэдун отдал тайный приказ об аресте Чан Кайши. Акция не удалась, после чего Чан Кайши стал очищать Гоминдан от коммунистов. В стенах Университета им. Сунь Ятсена никто так горячо не нападал на Чан Кайши, как его сын Николай Елизаров:

«Измена Чан Кайши не удивляет. Когда он на словах славил революцию, он уже начал тайно предавать ее. Для него дело революции давно уже закончилось».

В печати появилось заявление, в котором комсомолец Цзян проклял своего отца и навеки отрекся от него, «повторив» подвиг Павлика Морозова за несколько лет до самого Павлика. Цзяну была устроена своего рода гастрольная поездка, проходившая и через Ленинградский университет, где его проклятьям в адрес отца внимал студент Василий Меркулов.

Дальнейшая судьба Цзяна Цзинго столь же уникальна, сколь и характерна для того времени.

Успешно окончив Университет трудящихся Китая, он поступил на военные курсы особого назначения, затем в Ленинградскую военно-политическую академию имени Толмачева, где тоже был избран в комсомольское бюро. В 1929 году (по другим данным в 1930-м) он стал кандидатом в члены ВКП(б). Окончив военную академию, он просил направить его в Красную Армию – советскую или китайскую, ибо в Китае уже шла полномасштабная война

¹⁸ Архив автора. Письмо В. Л. Меркулова от 14 января 1977 г.

между коммунистами Мао Цзэдуна и гоминдановцами Чан Кайши. Понятно, какой эффект имело бы появление сына Чан Кайши в военном лагере Мао! Но – доверия к Коле Елизарову все еще не было. При двух высших образованиях и боевой комсомольской биографии его направили на московский завод «Динамо» – учеником слесаря. Он вкалывал на самых черных работах и жил впроголодь: зарплата пролетария была столь мизерной, что ее не хватало на самую скудную пищу. Отслеживать его контакты в столичном городе было сложно, и через год его услали в отдаленный колхоз – в село Жуково где-то между Москвой и Рязанью. А еще через год – на Алтай, рабочим одного из золотых приисков, где ему пришлось особенно солоно. Чем руководствовались его кремлевско-лубянские кураторы, можно только гадать.

В конце 1933 года Цзяна-Елизарова направили в Свердловск, на крупнейшую «стройку коммунизма» – Уралмашзавод. Здесь он снова начал рабочим-слесарем, но скоро стал бригадиром, затем заместителем начальника цеха, а затем его перебрасывают на идеологический фронт: ответственным секретарем, потом и. о. главного редактора заводской многотиражки «За тяжелое машиностроение». В конце 1936 года, после шести лет кандидатства, его принимают в члены ВКП(б); в заявлении он пишет, что готов «отдать всю свою жизнь за дело Ленина-Сталина».

К этому времени Коля Елизаров уже был женат – на комсомолке Фаине Вахревой, вскоре у них родился сын.

И вдруг – гром среди ясного неба! Арестованы его друзья (и, по-видимому, приставленные к нему надсмотрщики), твердокаменные партийцы Евгений Цетлин и Леопольд Авербах – недавний политкомиссар *пролетарской литературы*. Елизарова-Цзяна обвиняют в потере бдительности, припоминают его *троцкизм*, находят политические ошибки в редактируемой им газете; на него поступает донос как на японского шпиона. Его увозят в Москву, многие уверены, что на Лубянку. Но в столице происходит невероятное: вместе с женой и годовалым сыном его пересаживают в дальневосточный экспресс и отправляют в Китай.

Неожиданный гуманизм Кремля объяснялся резким изменением международного климата на Дальнем Востоке. Япония готовила вторжение в Китай; компартия, многократно битая Гоминданом, вероятно, по *совету* из Москвы, предложила прекратить междоусобицу и объединиться для отпора общему врагу. Чан Кайши уже не питал в отношении коммунистов никаких иллюзий, но после долгих колебаний, согласился. Однако поставил условие: ему должны вернуть заложника-сына. Это и было сделано – не без надежды, что Коля будет оказывать *правильное* воздействие на отца.

Цзяну Цзинго пришлось заново осваивать родной язык, китайские традиции и образ жизни – за годы в советской России он все это изрядно забыл. Тем же занялась его русская жена Фаина Вахрева, ставшая Цзян Фанлян. Она родила ему еще троих детей.

Свое отречение от отца Цзян Цзинго назвал вынужденным, и Чан Кайши это удовлетворило. Сын стал его верным соратником, стойким антикоммунистом, приверженцем демократического социализма.

После разгрома Японии вражда между Гоминданом и коммунистами возобновилась, но соотношение сил уже было другим. Советские войска стояли в Манчжурии. При их помощи китайские коммунисты получили решающее превосходство над Гоминданом и в союзе с ним больше не нуждались.

В надежде, что еще не все потеряно, Чан Кайши направил своего сына в Москву для переговоров. Цзяну были оказаны почести как самому высокому иностранному гостю. Его принял Сталин – в присутствии Молотова, а также сотрудника Наркомата иностранных дел Павлова и посла Китая в СССР Фу Бинсана. Цзян Цзинго просил Сталина ясно изложить претензии к правительству Китая, заверяя, что все они будут удовлетворены. Сталин ответил, что не знает внутренней обстановки в Китае и потому никаких претензий не

имеет, но у него есть вопросы: почему в Манчжурии разбрасываются листовки с призывами – резать советских солдат? Растерявшийся Цзян Цзинго пробормотал, что это какая-то ошибка, может быть, провокация; Гоминдан к таким листовкам непричастен. Возможно, ответил Сталин, но некоторые распространители листовок схвачены, они называют себя членами Гоминдана. Может быть, все они – самозванцы?¹⁹

Ничего хорошего правительству Чан Кайши такие «вопросы» не сулили. Правда, Сталин пообещал вывести советские войска из Манчжурии и обещание сдержал. Но власть в освобождаемых районах передавалась коммунистам. Им же передавалось оружие и снаряжение. С этого плацдарма Мао Цзэдун, при неограниченной поддержке Страны Советов, развернул наступление на армию Чан Кайши, и за три года весь континентальный Китай был «освобожден». В 1949 году была торжественно провозглашена Китайская Народная Республика. Чан Кайши вместе с сыном и остатками своей разбитой армии эвакуировался на Тайвань, где не надеялся закрепиться. От вторжения на остров коммунистов удержала вспыхнувшая война в Корее, куда Мао, опять же по «совету» Москвы, направил миллионную армию «китайских добровольцев». Это дало возможность Чан Кайши консолидировать свою власть на Тайване, укрепить вооруженные силы, заручиться американской поддержкой. Цзян Цзинго при нем возглавлял тайную полицию, а в 1973 году, когда старый и больной Чан Кайши отошел от дел, вся фактическая власть на острове перешла к его сыну. С 1978 года Цзян Цзинго стал президентом Китайской республики на Тайване и оставался им 10 лет, до самой смерти. При нем на острове было достигнуто экономическое процветание, отменено военное положение, введено демократическое конституционное правление. Самому ему от тайваньского «экономического чуда» не перепало ничего. После его смерти недавняя Первая леди Тайваня Цзян Фанлянь и ее семья остались без средств к существованию и должны были хлопотать о государственной пенсии. Незадолго до смерти, спрошенный журналистом, каков самый важный урок, которому научила его жизнь, полуслепой, не встававший с инвалидной коляски Президент Китайской республики Тайвань с неожиданным темпераментом прокричал:

– Искоренять коммунизм! Коммунизм – это самая большая угроза миру сегодня. Истоки мирового хаоса – в коммунизме²⁰.

¹⁹ Сталин И. В. Беседа с Цзян Цзинго, личным представителем Чан Кайши, 3 января 1946 года. Сталин И. В. Сочинения, т. 18, Тверь: Информационно-издательский центр «Союз», 2006. С. 397–409. http://grachev62.narod.ru/stalin/t18/t18_190.htm.

²⁰ Сведения о Цзяне Цзинго почерпнуты из нескольких источников, наиболее содержательный из них – статья Олекса Пидлуцкого «Коля Елизаров – президент Тайваня», «Зеркало недели» № 4, 2 февраля 2002.

Глава четвертая. В. Л. Меркулов: первое знакомство

1.

С Василием Лаврентьевичем Меркуловым я впервые встретился в апреле 1972 года – на симпозиуме по проблемам биографии творческой личности, организованном под эгидой Института истории естествознания и техники (ИИЕиТ). Не могу вспомнить, где он проходил. Почему-то кажется, что в Доме ученых на Пречистенке, рядом со станцией метро Кропоткинская, но не могу поручиться. Помню просторный светлый зал с высоким лепным потолком и большими сводчатыми окнами.

К началу я сильно опоздал и вошел посреди чьего-то доклада. Задержался в дверях, бегло оглядел зал. Глаз тотчас выхватил худощавую фигуру Юрия Ивановича Миленушкина, заведующего кабинетом истории в Институте микробиологии и эпидемиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Он скромно сидел в одном из задних рядов и с напряженным вниманием слушал докладчика. Рядом с ним сидела смуглолицая Н. А. Григорян – ее специальностью была история физиологии. С ней я едва был знаком, но мне приходилось читать ее статьи – содержательные, но пресноватые, всегда идеологически *правильные*.

Ю. И. Миленушкина я знал в связи с работой над книгой о Мечникове, тогда еще не завершенной. Историей микробиологии он занимался давно, был автором нескольких биографических очерков об ученике Мечникова Н. Ф. Гамалее, были у него публикации и о Мечникове. Я пару раз был у него в институте, беседы с ним были полезны, но протекали формально, хотя внешне доброжелательно. У меня было ощущение, что Миленушкин воспринимал меня настороженно, как чужака, вторгшегося в его вотчину. Опыт учил держаться от таких доброжелателей на расстоянии и стараться, чтобы рукопись не попала к ним на рецензию. После выхода книги пусть говорят и пишут, что угодно, а до выхода давать им свой текст на суд и расправу рискованно!

Пригнувшись, чтобы никому не мешать, я тихо прошел по проходу и сел на свободное место во втором или третьем ряду.

За столом президиума, покрытого, как полагается, зеленым сукном, председательствовал директор ИИЕиТ академик Б. М. Кедров. Он выглядел еще более обрюзгшим и постаревшим с тех пор, как я его видел. Рядом – его заместитель и верный Санчо Панса, членкор С. Р. Микулинский, совершенно не меняющийся. (Через два года, когда Кедров уйдет с поста директора, его место займет Микулинский).

С Семеном Романовичем я был знаком уже без малого десять лет. Впервые я пришел к нему, когда стал работать в редакции серии ЖЗЛ, где мне был поручен раздел книг об ученых. Заведующим редакцией тогда был Юрий Николаевич Коротков. У него возникла идея придать отбору героев для наших книг некую систему, чтобы за обозримый период времени, допустим, за пять лет, дать круг чтения по всей мировой истории и культуре. Из моря имен выдающихся личностей следовало отобрать 120–150 с таким расчетом, чтобы охватывались основные исторические эпохи, все крупные страны мира или хотя бы регионы, основные области культуры. Ученых-естествоиспытателей в этом списке должно было быть примерно 30–40, они должны были представлять развитие основных разделов науки: физики, математики, химии, биологии, наук о Земле и т. д.

Сразу скажу, что из этой затеи ничего не вышло и, по-видимому, не могло выйти. Написание полноценной научно-художественной биографии – задача слишком сложная, чтобы производство таких книг можно было поставить на поток. На некоторые темы найти подходящего автора было вообще невозможно, другой автор затянет работу на десять лет. Когда

я пришел в редакцию, работа по составлению перспективного плана уже велась, и я должен был в нее включиться. Списки наиболее крупных ученых по разным разделам науки уже были подготовлены, но это было самое простое. Главное состояло в том, чтобы по каждому разделу из десятков имен выбрать пять-шесть наиболее, как сейчас говорят, *знаковых*. Произвол требовалось свести к минимуму, поэтому приходилось консультироваться с видными специалистами по каждому разделу науки.

Семен Романович Микулинский, доктор наук, специалист по истории биологии, тогда только что стал заместителем директора ИИЕиТ. Институт располагался в старинном здании в центре Москвы, недалеко от Лубянки. Микулинский принял меня в своем кабинете. Ему тогда едва перевалило за сорок, но по виду трудно было определить его возраст. Черноглазый и черноволосый, с волнистой, аккуратно уложенной шевелюрой на косо пробор, подтянутый и хорошо сложенный, он выглядел бы молодым и энергичным, если бы не вялое рукопожатие и усталое, какое-то помятое лицо с темными набрякшими подглазьями. Одетый с безукоризненной аккуратностью, он скорее походил на добросовестного службиста, чем на ученого. Таким я увидел его при первом знакомстве и таким он оставался потом на протяжении многих лет.

Не помню, чтобы он предложил коррективы к наметкам нашего плана. Но он заметно оживился, увидев в списке биологов имя Николая Ивановича Вавилова.

В научных и околonaучных кругах это имя было своего рода паролем. На сакраментальный вопрос: «С кем вы, мастера культуры?» – оно давало однозначный ответ. Великий растениевод и генетик был затравлен *колхозным ученым* Т. Д. Лысенко, арестован и погиб в заключении. Труды его были изъяты из библиотек, имя нигде не дозволялось упоминать. После смерти Сталина он был реабилитирован (потому и мог быть в нашем списке), но генетика оставалась *буржуазной лженаукой*, поганым *менделизмом-вейсманизмом*, *служанкой ведомства Геббельса*. Широкой публике имя Николая Вавилова было почти неизвестно – в отличие от его брата Сергея Вавилова, крупного физика, президента АН СССР.

Микулинский сказал, что книгу о Николае Ивановиче Вавиллове надо издать в первую очередь, и подчеркнул, что это очень важно. О том, что вскоре я сам приступлю к книге о Вавиллове, я не подозревал и ответил, что найти автора для этой темы не просто: большинство писателей, писавших о биологах и селекционерах, пели осанну Лысенко, привлекать их для написания книги о Вавиллове было бы кощунством. При этих моих словах Микулинский как-то сник; мне стало ясно, что я сболтнул лишнее: ведь Лысенко был еще в полной силе. После паузы, глядя куда-то в сторону, Микулинский совсем другим тоном сказал:

– Это не так просто, у академика Лысенко есть заслуги...

Я понял, что имею дело с очень осторожным дипломатом.

После падения Хрущева (октябрь 1964-го) Лысенко перестал быть неприкасаемым, и в считанные недели от всего «мичуринского» учения, лидером которого считался Лысенко, не осталось мокрого места. Микулинскому уже не надо было дипломатничать. Но вкрадчивая осторожность проявлялась во всем его облике.

27 декабря 1968 года был подписан «в свет» сигнал моей сильно урезанной из-за цензуры книги о Вавиллове. Я запомнил дату, потому что это был день рождения моей мамы. По производственным условиям стотысячный тираж книги был уже отпечатан. Пользуясь тем, что я в издательстве *свой*, я спустился в типографию и выпросил экземпляр, чтобы показать его дома, не подозревая, каким драгоценным он вдруг окажется.

Сразу после новогодних праздников из ЦК партии пришла команда: книга идеологически вредная, не выпускать! На мое счастье, десятая часть тиража к тому времени уже была отправлена в книготорг, но директор издательства В. Н. Ганичев настолько перетрусил, что отказался выдать мне положенные по договору авторские экземпляры. Пытаясь найти защиту со стороны влиятельных ученых, я побывал в нескольких высоких кабинетах

и, конечно, приехал к Микулинскому. Молча выслушав меня, он вызвал к подъезду черную институтскую «Волгу». Вырулив на Ленинский проспект, мы покатали к директору института академику Б. М. Кедрову домой: он в это время «болел». Кедров жил на улице Губкина, в большом академическом доме, который боковой стороной выходил на улицу Вавилова [С. И.], а фасадом смотрел на Институт общей генетики имени Вавилова Н. И.²¹

Бонифатий Михайлович Кедров сам открыл дверь и провел нас в свой кабинет. Я тогда его увидел впервые. Он был в распахнутой домашней тужурке и мягких шлепанцах, с двух или трехдневной серебристой щетиной. Он был много старше Микулинского, но значительно живее и энергичнее, несмотря на избыточную полноту. Он вовсе не выглядел больным.

Быстро оценив ситуацию, он попросил оставить ему книгу на одну ночь и утром вернул мне ее с подробным защитительным отзывом на четырех страницах на своем официальном бланке. Правда, отзыв был адресован не в ЦК партии, откуда пришла гроза и где у него были прочные связи, а директору издательства «Молодая гвардия» В. Н. Ганичеву, которому мне и пришлось его вручить. Сыграл ли этот отзыв какую-то роль в спасении книги, мне осталось неизвестно, но готовность, с какою академик бросился защищать «идеологически вредную» книгу, много стоила.

Я подумал, что в перерыве надо будет подойти к Кедрову и еще раз поблагодарить за ту, уже давнюю, поддержку, но он посмотрел на часы, шепнул что-то Микулинскому, тихо поднялся и вышел. Видимо, спешил на другое совещание. Следующих докладчиков объявлял Микулинский. Он и назвал имя Василия Лаврентьевича Меркулова, доктора биологических наук, старшего научного сотрудника Физиологического института им. академика А. А. Ухтомского при Ленинградском университете.

2.

К трибуне докладчик двигался медленно, тяжело, опираясь на костыли, рывками перебрасывая грузное тело. На трибуне он долго прилаживал костыль, продолжая опираться на другой; неловко перебирал бумаги свободной рукой. Это был пожилой человек, с большой головой, увенчанной редкой сединой, с простецким почти крестьянским лицом и неожиданно яркими живыми глазами. Заговорил он тоже неожиданно бодрым, густым баритоном.

Текст его доклада «О трактовке мотивации творчества отечественных натуралистов» опубликован в изданной по следам симпозиума книге «Человек науки»²². Я внимательно перечитал доклад и убедился, что напечатанная версия значительно пригладжена. Автору пришлось кое-что притушить и кое-что вписать *для порядка*, чтобы не дразнить гусей. На чем, надо полагать, настоял научный редактор сборника М. Г. Ярошевский, с которым, как я потом узнал, Меркулова связывали многолетние сложные отношения. Ядро первой половины доклада состояло в том, что «мотивацией» исследований Ивана Петровича Павлова служили в основном труды французского физиолога XIX века Клода Бернара. В подтверждение Меркулов сопоставлял работы двух ученых и приводил высказывания самого Павлова о Бернаре. Тут где-то сзади послышался шумок, затем раздалось негодующее восклицание в два голоса:

– А Сеченов!

²¹ Институт генетики АН СССР был создан в 1933 году, под руководством Н. И. Вавилова. Преобразован из Лаборатории генетики, которой Вавилов руководил с 1930 г. После его ареста в августе 1940 году директором института стал Т. Д. Лысенко, который перевел его на рельсы «мичуринского учения». После падения Хрущева в 1964-м лысенковский институт был ликвидирован, вместо него был создан Институт общей генетики имени Н. И. Вавилова; директором института стал Н. П. Дубинин.

²² «Человек науки», под ред. М. Г. Ярошевского, М., «Наука», 1974, стр. 160–172.

– А Сеченов!..

Я обернулся и увидел гневное худошавое лицо с трясущимися губами Ю. И. Миленушкина. Так же сердито посверкивала углистыми глазами сидевшая рядом с ним Н. А. Григорян. Оба были полны негодования, словно им нанесено личное оскорбление.

Докладчик оторвался от текста, с удивлением посмотрел в зал, пожал плечом, не опиравшимся на костыль, и сделал недоуменный жест свободной рукой:

– Я же привожу факты.

Для непосвященных этот обмен любезностями выглядел бы вполне невинно, но в зале непосвященных не было!

В эпоху позднего сталинизма, когда Россия сделалась родиной слонов, а также всех важнейших достижений науки и техники, утвердилась жесткая схема: отечественная физиология создана великим ученым-материалистом Иваном Михайловичем Сеченовым, академик Павлов – великий продолжатель Сеченова. Это стало такой же непреложной истиной, как то, что Сталин – продолжатель дела Ленина. Любое отклонение от этой схемы представлялось низкопоклонством перед буржуазной наукой. К 1970-м годам догмы сталинизма, казалось бы, были давно похоронены, но многие из тех, кто их насаждал, были живы, влиятельны и не собирались уступать своих позиций. С рудиментами этих догм то и дело приходилось сталкиваться. Видны они и в книге «Человек науки». Чего стоит хотя бы такая сентенция из редакционного предисловия:

«Полемика, ведущаяся <...> в капиталистических странах, отражает антагонистический характер противоречий между достижениями современной научно-технической революции и социальными условиями, препятствующими развитию сущностных сил целостной человеческой личности, возможностей ее познания и самопознания»²³.

Полная бессмыслица, но какова аранжировка! Чтобы нельзя было заподозрить редактора в том, что ему недостает *классового подхода* к загнивающему капитализму, который вот-вот должен рухнуть под тяжестью своих антагонистических противоречий!

После доклада Меркулова был объявлен перерыв. Захлопали кресла, притомившаяся публика потянулась из зала, но сам докладчик остался сидеть на своем месте в первом ряду: видать, не просто было ему подняться и ковылять на костылях. Я подошел к нему и представился. Он отозвался с каким-то удивительным радушием, усадил меня рядом с собой, и у нас завязался оживленный разговор, словно мы были добрыми знакомыми много лет. Я иронично отозвался о реплике Миленушкина. В выразительных глазах Василия Лаврентьевича, забегали веселые искорки. Громко, на весь еще не совсем опустевший зал, он сказал:

– Юрий?! Да он же сталинист!

3.

В нашей переписке с Василием Лаврентьевичем Ю. И. Миленушкин упоминается многократно. Они были знакомы аж с 1926 года: вместе учились в ЛГУ. Как сообщал мне Василий Лаврентьевич, Миленушкин еще студентом начал печататься, а в годы войны работал в редакционном бюро научных радиопередач при ВОКС (Всесоюзном обществе культурных связей с заграницей). Он готовил радиопрограммы о достижениях советской науки, которые шли на зарубежные страны. «Тут он познакомился с большими тузами науки и искусства!», писал мне Меркулов, и эта работа, по его словам, сильно испортила Миленушкина: «окунула [его] в пучину страстей», «связанных с погоней за популярностью»²⁴.

²³ Там же, стр. 5.

²⁴ Архив автора. Письмо В. Л. Меркулова от 17 января 1976 г.

Когда вышла моя книга о Мечникове, я подарил ее Миленушкину. А через некоторое время почта принесла подписанное им письмо на официальном бланке Общества историков медицины, в котором он возглавлял секцию микробиологии. В письме сообщалось, что очередное заседание секции посвящается обсуждению моей книги.

Как это было понять?

Публичное обсуждение книги – для автора всегда событие. Тем более в обществе знатоков, за плечами каждого много печатных работ, защищенных диссертаций, научных докладов в той самой области, в которую я дерзнул вторгнуться. Они могут дать книге зеленый свет, а могут вынести смертный приговор. Что день грядущий мне готовит? Уж не собирается ли Юрий Иванович учинить экзекуцию?!

Специалисты всегда ревниво относятся к вторжениям со стороны, а в данном случае повод для недовольства был особенно ясным, можно сказать, вызывающим. В центре моего повествования не научные заслуги Мечникова в микробиологии (хотя, по моему мнению, о них рассказано достаточно подробно), а его философские, мировоззренческие искания. Сюжет выстроен не по шаблону: родился, учился, женился, защитился – он концентрируется вокруг одного дня жизни Мечникова, 30 мая 1909 года, когда он приехал в Ясную Поляну, к Льву Николаевичу Толстому, носителю противоположного мировоззрения. Столкновение двух противостоящих философий – таков был стержень повествования. Я полагал, что это могло сильно не понравиться спецам по истории микробиологии.

Я позвонил Миленушкину, чтобы прощупать ситуацию, но вместо долгого разговора по телефону он пригласил меня к себе домой. А когда я приехал, он... вылил на меня ушат похвал, так что я потом долго не мог опомниться. На обсуждении книги он председательствовал, выступил первым и – повел аудиторию за собой. Раздавались и недовольные голоса: почему так много о встрече с Толстым, не за это Мечникову присудили Нобелевскую премию! Но не такие голоса превалировали.

Свое выступление Миленушкин затем превратил в обстоятельную рецензию и опубликовал ее в журнале «Природа» (задолго до того, как я стал в нем работать). В рецензии было несколько дельных замечаний, причем легко устранимых, так что за излишнюю опасливость я был наказан: показал бы ему рукопись заранее, неточности были бы исправлены. Но общая оценка была такова, что мне и сейчас неловко ее цитировать. Моя книга противопоставлялась всей предшествовавшей литературе о Мечникове как «новое и интересное явление». Особо подчеркивались ее преимущества перед классическим международным бестселлером «Охотники за микробами» Поля де Крайфа (де Крюи)²⁵. Лучшего отзыва просто не могло быть!

У меня сохранился отпечаток этой рецензии с дарственной надписью Юрия Ивановича:

«Семену Ефимовичу с чувством глубокой симпатии, уважения и с самыми горячими пожеланиями грядущих успехов, а также на память о том заседании об[щест]ва, где обсуждалась книга. 17–4–75 (Подпись)».

После этого я не раз бывал в небольшой квадратной комнатке Миленушкина, затянутой сизым табачным дымом. Он почти беспрерывно курил, причем не сигареты с фильтром, как было принято, а, по-старомодному, папиросы «Беломор».

Среди прочего, он показал мне оригинальную фотографию на стекле (позитив) – выступление Мечникова в Институте экспериментальной медицины, 1909 год. Это был подарок В. Л. Меркулова.

Отношения дружбы-вражды у них были давние. Меркулов вспоминал с долей ядовитого сарказма, что еще в 1965 году, когда он посетил Миленушкина, у них был «жестокий

²⁵ Ю. И. Миленушкин. Свежее слово о Мечникове. «Природа», 1974, № 8, стр. 122–124.

спор», в котором его, Меркулова, поддерживала 16-летняя дочь Миленушкина Таня, оказавшаяся «более политически зрелой», чем ее отец.

«В Риге летом 1969 г. – мы пару дней были с Юрием вместе – он проявил такие «комические» суждения, что я был изумлен его упорной склонностью оправдывать злодеяния некоего грузина [Сталина] соображениями: «не знал и не ведал!», – писал мне Меркулов в том же письме²⁶.

Страстный охотник, Миленушкин был очень активен в обществе охотников, публиковал обзорные статьи, очерки, рассказы, рецензии в сборниках «Охотничьи просторы» и других подобных изданиях. Его «другом по охоте» был президент академии Медицинских наук В. Д. Тимаков, микробиолог. Юрий Иванович считал, что имеет влиятельного покровителя, и чувствовал себя уверенно, но когда директор института имени Гамалеи О. В. Бароян решил вытурить его на пенсию, Тимаков пальцем не пошевелил. Сбылось пророчество В. Л. Меркулова:

«Когда в Л[енингра]де отмечалось 100 лет со дня рождения Д. К. Заболотного²⁷, я, как один из докладчиков (Д. К. в ИЭМ), попал в президиум и познакомился с Тимаковым и Барояном. И тогда же я предсказал Юрию – тебе скоро труба. Твой Володя – черствый дипломат, за тебя он не захочет хлопотать, и защиты от него не жди! <...> И потом, когда его выжил Бароян на пенсию, он стал умнее»²⁸.

Последний раз они виделись в октябре 1975 года, когда Василий Лаврентьевич остановился на несколько дней в Москве, возвращаясь из Тбилиси со съезда историков науки.

«О многом мы вспоминали и говорили, – писал мне Меркулов. – Он давно имел язву кишки и желудка + много курил + его страшно деморализовало: 1) выход на пенсию, 2) разочаровался в «друге по охоте» лауреате Лен[инской] премии, президенте АМН и академике «Володе Тимакове» и 3) что музей И. И. Мечникова, собиранию коего он отдал почти 30 лет работы, по приказу Барояна передан в Ригу в Музей ист[ори] медицины!»²⁹.

С близкими Миленушкина я знаком не был и о его кончине (2 января 1976 г.) узнал с опозданием, из Ленинграда, от Меркулова.

На его подробное письмо я отвечал:

«Все, что Вы пишете о Юрии Ивановиче, мне очень интересно. Я знал его только в последние годы и был очень тронут его добрым отношением ко мне и к моей книге о Мечникове. Он казался мне очень добрым и несколько наивным человеком, чрезвычайно простым и открытым (этаким пожилым ребенком). Но оказывается, это не совсем так. Например, на мои вопросы о здоровье он неизменно отвечал, что все хорошо. Я даже не знал, что у него язва. О его переживаниях, связанных с уходом со службы, я тоже узнавал стороной, сам он мне об этом ни разу не говорил»³⁰.

Таким оказался этот необычный сталинист, вставший горой на защиту *единственно правильного учения* об академике Павлове – великом продолжателе своего, отечественного, Сеченова, а не какого-то подозрительного «космополита» Клода Бернара!

4.

Заново знакомясь с докладом Меркулова по печатному варианту, я вижу, что вторая его половина была посвящена «мотивации» научной деятельности А. А. Ухтомского. Ухтомский

²⁶ Архив автора. Письмо В. Л. Меркулова от 17 января 1976 г.

²⁷ Даниил Кириллович Заболотный (1866–1929), выдающийся бактериолог и эпидемиолог.

²⁸ Архив автора. Письмо В. Л. Меркулова от 17 января 1976 г.

²⁹ Там же.

³⁰ Архив автора. Копия моего письма В. Л. Меркулову от 31 января 1976 г.

как раз *был* продолжателем Сеченова. Он принадлежал к школе Н. Е. Введенского, наиболее одаренного ученика Сеченова в Петербургском университете. Введенский унаследовал кафедру физиологии от Сеченова, Ухтомский – от Введенского: преемственная связь очевидна. Но, вероятно, именно поэтому не она занимала Меркулова. В его докладе говорится о влиянии на Ухтомского крупнейших философов – от Платона и Аристотеля до Шопенгауэра и Гегеля, и особенно – произведений Ф. М. Достоевского. Для меня, только что познакомившегося с письмами А. А. Ухтомского к Е. И. Бронштейн-Шур, это было наиболее интересно, но разговор наш до второй половины его доклада не дошел, – во всяком случае, в моей памяти ничего на этот счет не сохранилось. Перерыв кончился, мы обменялись адресами и, пока люди рассаживались, я поспешил уйти: на вторую половину заседания я не мог остаться.

Глава пятая. Любви все возрасты покорны

1.

Лена Бронштейн была не единственной и не первой любовью Алексея Алексеевича Ухтомского. За двадцать лет до встречи с нею он, тогда еще студент университета, был приглашен в многочисленное семейство Платоновых, жившее на углу 13-й линии Васильевского острова и Большого проспекта.

Был конец октября 1905 года. Всего несколько дней назад был обнародован царский манифест: народу даровались основные гражданские свободы. Революционная стихия пошла на спад, но в городе еще было беспокойно. На улицах и площадях вспыхивали митинги, демонстрации, шныряли усиленные наряды полиции, хлопали выстрелы. Ухтомского предупредили, что дверь с улицы будет заперта, ему следует пройти через двор в кухню, но постараться не попасть на глаза дворнику, который берет на заметку всех «студентов в синих околышках».

Ухтомский только что вернулся из путешествия по Волге и Уралу: ездил в качестве представителя питерской старообрядческой общины. У старообрядцев были давние счеты с властью и с официальной церковью, им требовалось скоординировать свои действия. Ухтомский встречался с «подозрительными» людьми и сам попал под подозрение, несколько раз ускользал от ареста³¹. Учитывая накопленный опыт конспирации, он пришел к Платоновым в желтой верблюжьей куртке и черном картузе, какие носили приказчики.

Отец семейства недавно умер, мать с одной из дочерей еще не вернулась с Кавказа, куда выезжала на лето; в доме главенствовал их единственный сын Юрий Александрович, студент горного института. Он стал горячо говорить о революционных событиях, о царском манифесте и о том, что на этом нельзя успокаиваться. Надо требовать твердых гарантий, что обещанные преобразования будут осуществлены. На слово властей полагаться не следует, совести у них нет. Так считает не только он сам и другие студенты Горного института, но и профессора, такие как математик И. П. Долбня, которого студенты особенно любят и почитают.

Ивана Петровича Долбню Ухтомский хорошо знал: когда он был курсантом Кадетского корпуса в Нижнем Новгороде, математику преподавал И. П. Долбня. Для Алексея он стал Учителем с большой буквы. Юноша поверял Ивану Петровичу свои сомнения, переживания, делился планами и всегда встречал в нем участие. Он потому и избрал Петербургский университет, что в Питере жил Долбня. Их контакты возобновились и стали почти такими же тесными, как когда-то в Нижнем Новгороде. Он многое мог рассказать об этом умном и чутком наставнике своим новым знакомым.

Они сидели за чайным столом, под большой картиной, изображавшей сцену прощания Наполеона с ветеранами-гренадерами. Ухтомский запомнил, что на другой стене тоже висела картина на сюжет наполеоновских войн: солдат в траншее извлекает из подсумка убитого товарища оставшиеся патроны, тогда как вдали уже видны цепи наступающего врага. Картина называлась «Последний патрон».

Беседа была оживленной, в нее включились сестры Юрия Александровича – Женя, Клаша, Машенька. Одна лишь Варенька молчала, внимательно слушала, но чувствовала себя скованно; когда гость поворачивался к ней, вспыхивала и отводила глаза.

³¹ В архиве Ухтомского сохранились краткие записи, дающие представление об этой длительной поездке. <http://rudocs.exdat.com/docs/index-380470.html?page=2>.

Он зачастил в дом Платоновых, и вскоре все заметили, что между ним и Варенькой возникли особые отношения.

Варенька служила в бухгалтерии правления Рязанско-Уральской железной дороги, но душа ее витала далеко от приходно-расходных книг. Она увлекалась поэзией, философией, была набожна, отзывчива на чужое горе. И при всем том чувствовала себя одинокой, не такой как все. Ее *особость* тотчас почувствовал Ухтомский – и потянулся к ней.

Человек деятельный и активный, он общался со многими людьми самых разных слоев общества – от царского дворца до крестьян и мастеровых из заволжской глуши, где вырос. От прихожан своей старообрядческой (единоверческой³²) церкви до товарищей по университету. С бывшими однокашниками по кадетскому корпусу и духовной академии. Но близости ни с кем не возникало, он оставался *ото всех отдельно*, и это его мучило. Тут в его жизни и появилась Варенька.

Были ли у 30-летнего Ухтомского романы или хотя бы мимолетные увлечения до встречи с ней? Похоже, что были, но о них ничего неизвестно, если не считать нескольких не вполне ясных дневниковых записей. Так, в декабре 1896 года, между философско-религиозными размышлениями, вдруг возникает П. Ф., Пелагея Федоровна – «редкая девушка», пробудившая в нем «так много жизни, так много жажды жизни»³³. Впервые она появляется в дневнике 4 декабря. А последняя запись, похожая на прощальную, сделана уже 22 декабря, всего через 18 дней:

«Пелагея Федоровна – редкая девушка <...> Я не встречал такого сочетания детской простоты и доверчивости с несомненно мужественным сердцем; я, наконец, не встречал сочетания всего этого с любовью ко мне. Это потеря жизни... Господи, дай ей счастья, да вспомнит она меня добрым словом в минуты своего счастья!»³⁴.

Вспоминала ли потом о нем Пелагея Федоровна, неизвестно, но он о ней, похоже, забыл навсегда.

Двумя годами позже в дневниках начинает мелькать Настенька и ее мать, обозначенная только инициалами: А. Л. Не без труда можно догадаться, что их фамилия Половцевы, возможно, родственницы известного государственного деятеля А. А. Половцева.

1 августа 1899 года Ухтомский делает запись, из которой явствует, что он влюблен в Настеньку, а еще через три дня констатирует: «Божья жизнь стала для меня невыносимой без Насти»³⁵.

Но мать хотела не *Божьей жизни* для своей дочери, а простого земного счастья. Торопя события, она пыталась воздействовать на него через его близких. Так, во всяком случае, я понимаю следующую дневниковую запись:

«А. Л., у Вас все есть и всего много; а у меня Вы хотите отнять последнее, что есть у меня, «единственную мою овцу» – нравственную и физическую свободу, которая создавалась для меня с таким трудом и так *дорого*. И для этого Вы вооружаетесь на меня всеми моими врагами, всеми врагами моей жизни и нравственной свободы, – кончая моими рыбинскими родными»³⁶.

Имя Насти в дневнике больше не появляется...

³² Единоверие – ветвь старообрядчества, которая пошла на примирение с официальной церковью на условиях сохранения древних богослужебных чинов, что и было узаконено при императоре Павле I по инициативе московского митрополита Платона (Левшина). По свидетельству А. А. Золотарева, переход Ухтомского в единоверие был совершен под «плодотворным и животворным воздействием» учебы в Духовной Академии, но об этом ниже.

³³ А. А. Ухтомский. Лицо другого человека, СПб., изд-во Ивана Лимбаха, 2008, стр. 74.

³⁴ Там же, стр. 77.

³⁵ Там же, стр. 106. Дневниковая запись от 4 августа 1899 г.

³⁶ Там же, стр. 148. Дневниковая запись от 23 мая 1900 г.

Не то было с Варенькой Платоновой, вошедшей в его жизнь прочно и навсегда. Уже через месяц после знакомства, побывав очередной раз у Платоновых, он записал:

«Варвары Александровны не было, не было ее; и уже шевельнулась злая змея в душе против религии жизни. <...> А Варвара Александровна свет и правда, ясность и благо! Дай ей Бог всего этого, ибо без того тяжело будет ей в грядущей обыденщине, которой, кажется, все равно не минуешь»³⁷.

Они становились все ближе, все нужнее друг другу, вместе им легче было противостоять ненавистной *обыденщине*. Их отношения почти неизбежно вели к естественной кульминации: «Я всегда был против женитьбы, ибо чувствовал, что не могу этого сделать свободно. Могу сказать, что относительно В. А. я впервые почувствовал, что могу жениться на ней вполне свободно, *даже во имя моей свободы*»³⁸.

С каждой встречей у них обнаруживалось все больше общего: глубокая религиозность, трепетная любовь к старине, к народным преданиям, к красоте церковного богослужения, готовность прийти на помощь каждому страждущему и обездоленному.

Варенька по воскресеньям посещала ближайшую к дому церковь Морского корпуса, но в ней царили формализм и *обыденщина*; казалось, что люди приходят только чтобы отбыть номер. Ухтомский привел ее в свою Никольскую единоверческую церковь на Николаевской улице, вблизи Невского проспекта. Прихожане здесь были душевнее, ближе друг другу, чувствовалось, что совместные молитвы очищают их от мирской скверны, возносят к горным высям. Под влиянием Алексея Варенька стала приобщаться к исконному, не испорченному, как они оба верили, православию, традиции коего восходили к допетровской и дониконовской Руси.

Каждая встреча приносила им много радости, а если свидание почему-либо срывалось, – немалое огорчение. Казалось бы, никаких препятствий к тому, чтобы соединиться, не было. Близкие Вареньки не могли желать для нее лучшей партии; что касается Алексея, то что-то, а возможное неодобрение родичей его остановить не могло.

Но... Дни шли за днями, складывались в недели, месяцы, годы. Варенька ждала, недоумевала, терзалась, негодовала – то на него, то на себя. Смирив девичью гордость, прямо спрашивала: когда же?... Он мялся, путался, уверял, что их *соединение во Христе* давно уже состоялось, а что до *соединения перед людьми*, то этого еще нельзя, не время, надо упрочить свое положение, и вообще не следует привлекать к себе излишнего внимания... Бывало и так, что все, казалось бы, было между ними решено, и она записывала в дневнике:

«Я не радуюсь, а радость помимо меня получается оттого, что мне легко, а легко потому, что на Духу сказала то, что мучило, угнетало мое самолюбие, мою гордость, что не давало покоя. Я отцу Виктору сказала, что выхожу замуж, что люблю моего жениха больше, чем он меня»³⁹.

Увы, она снова желаемое приняла за действительное.

Между ними возникало напряжение, жизнь разлучала надолго, порой на годы. Переписка тоже шла неровно: обрывалась на месяцы и годы, потом возобновлялась, становилась то более, то менее доверительной и интимной. Но мысленно они всегда были вместе. Обойтись друг без друга они не могли, а к совместной жизни были неспособны. То есть Варенька очень даже была способна, только и мечтала о том, чтобы соединиться со своим Алексеюшкой. Но он, много раз вплотную приближавшийся к последней разделявшей их черте, переступить ее так и не смог. Может быть, вправду любил ее меньше, чем она его? Или любил как сестру и друга, но не как женщину? Или...

³⁷ Там же, стр. 165. Дневниковая запись от 27 ноября 1905 г.

³⁸ Там же, стр. 167. Дневниковая запись от 30 декабря 1905 г.

³⁹ Цит. по: Игорь Кузьмичев. А. А. Ухтомский и В. А. Платонова. Эпистолярная хроника, Спб., 2000, стр. 46.

«Часто – чаще, чем мы думаем, – бывает, что лишь издали порываясь к человеку, домогаясь его, пока он до нас недоступная святыня, мы любим и идеализируем его, и тогда обладаем этим великим талисманом творческой идеализирующей любви, которая прекрасна для всех: и для любимого, – ибо незаметно влияет на него, и для тебя самого, – ибо ради нее ты сам делаешься лучше, деятельнее, добрее, талантливее, чем ты есть!

Но вот идеализируемый человек делается для тебя доступным и обыденным. И просто потому, что ты сам плох, обладание любимым, ставшее теперь простым и обыденным делом, роняет для тебя твою святыню, – незаметным образом огонь на жертвеннике гаснет. Идеализация кончается; секрет ее творческого влияния уходит с нею. И ты оказываешься на земле, *бескрылым, потерявшим свою святыню – оттого что приблизился слишком близко к ней!* <...> Иерусалим делается всего лишь грязным восточным городом! И из-за его восточной грязи ты больше не способен усмотреть в нем вечной святыни! Прекрасная невеста прекрасного ради нее жениха стала затрапезной женою отупевшего мужа!...»⁴⁰.

Такая «философия любви и брака» была им изложена в письме к *другой* возлюбленной, о ней речь впереди. Боязнь *обыденщины, которой все равно не минуешь*, оказывалась сильнее самой горячей любви. Та, *другая*, его не поняла и попросила «больше ее не трогать». Варенька понимала, а если не всегда *понимала*, то все и всегда *принимала*. Их притяжение-отталкивание длилось до последних дней его жизни. Даже в блокадный Ленинград, где он медленно умирал летом 1942-го, стали прорываться ее письма; преодолевая физическую немощь и боль, он исправно на них отвечал. Последнее его письмо датировано 22 июля 1942 года:

«Закат мой еще и еще раз посылает Вам горячее пожелание сил, здоровья, крепости и терпения <...> Как мне хотелось бы представить себе, что делается сейчас на Жиздре у Козельска⁴¹, – какие памятки там еще остались? Сохранились ли леса на жиздринском правом берегу? На моей памяти они были молчаливые и прекрасные, отличаясь от наших северных лесов тем, что посреди хвои в них вкраплен дуб. Так бы и побродил опять в этих пустынях. Но я забываю, что сейчас и по комнате я брожу через силу от больной ноги и слабости, нажитой болезнью пищевода. Первое, как я сообщал, есть некротический процесс, пока продолжающийся; а второе, как я надеюсь, не связано с чем-нибудь злокачественным, а является скорее нервно-мышечным расстройством пищеводной трубки и привратника к желудку. Иногда я ем, и тогда немного подкрепляюсь; а иногда ничего не могу съесть за день, тогда очень слабею»⁴².

Второе *было* связано со злокачественным процессом. Он это предчувствовал, а, возможно, и знал. Письмо заканчивалось словами:

«Простите и помните Вашего преданного А. У.»

31 августа, то есть через месяц и девять дней его не стало.

В том, что она *простила* и *помнила* до конца своих дней, можно не сомневаться, хотя дата ее смерти неизвестна.

2.

Вторая любовь его жизни (если считать Вареньку первой) была недолгой, но куда более романтической. О начальной, наиболее счастливой ее поре известно мало. Пора эта прихо-

⁴⁰ Лицо другого человека, стр. 509. Письмо Ухтомского к И. И. Каштан от 25 ноября 1922 г.

⁴¹ Имеется в виду Оптина Пустынь – знаменитый монастырь, закрытый большевиками. Монастырь расположен на берегу реки Жиздры, напротив города Козельска. В. А. Платонова тогда жила в Калуге, но наезжала в Козельск (в 70-ти километрах от Калуги), о чем сообщала Ухтомскому.

⁴² Там же, стр. 500.

дится на весенне-летние месяцы 1922 года, когда профессор Петроградского университета Ухтомский со своими сотрудниками и студентами-практикантами жил и работал в Александрии (Новом Петергофе).

Это был самый знаменательный год в его жизни. В этом году, после кончины профессора Н. Е. Введенского, он был утвержден заведующим кафедрой физиологии животных. В этом же году он впервые публично выступил с докладом о доминанте, благодаря которой его имя навсегда вошло в историю науки. И на этот же год приходится «наша прекрасная Александрия», как он назвал те полугодные, но счастливые месяцы.

Когда-то эти земли на берегу Финского залива Петр I пожаловал некоторым своим приближенным. Они переходили из рук в руки, пока ими не завладел государь Николай I, подаривший имение своей жене Александре Федоровне. В ее честь оно и стало называться Александрией. Для нее был построен летний дворец, возникли вспомогательные постройки. При Александре II – еще дворец, потом еще и еще. Появилась небольшая, очень изящная церковь в готическом стиле. Был разбит «английский» парк с деревьями разных пород, цветниками, лужайками, клумбами, беседками; причудливо извивающиеся дорожки вели к морскому берегу, где были оборудованы купальни. Тишину нарушали соловьиные трели, в ясную погоду на горизонте вычерчивался силуэт Кронштадта.

В 1920 году часть построек была передана биологическому отделению Петроградского университета. Кафедре физиологии животных достался двухэтажный корпус, построенный когда-то для челяди Николая I.

В больших и самых светлых комнатах разместились лаборатории, комнаты поменьше отвели под жилье сотрудников кафедры. Для жилья студентов был выделен второй этаж другого корпуса, в глубине парка.

Студентов-физиологов, выехавших летом 1922 года на практику, было восемь человек: семь девушек и один парень, Николай Владимирский. Имена девушек тоже известны благодаря воспоминаниям одной из них, А. В. Казанской (в девичестве Копериной). Кроме нее самой это были Роза Кацнельсон, Ида Каплан, Надя Сергиевская, Миля Шторх, Инна Вольфсон и Ася (ее фамилию мемуаристка не запомнила).

Алексей Алексеевич раздал всем темы для экспериментальных работ и сам ими руководил. По вечерам беззаботная компания собиралась в гостиной. Было много смеха, шумных веселых игр, песен, стихов. Профессор Ухтомский охотно участвовал в развлечениях молодежи, было видно, как он, в свои 47 лет, был еще молод.

О том, какое настроение царило в их веселом кружке, говорит стихотворная пародия, заставившая Алексея Алексеевича смеяться до слез:

Но, Боже мой, какая скука
Сидеть с лягушкой день и ночь,
Не отходя ни шагу прочь!
Какое низкое коварство
Полуживую раздражать,
Ее в растворы погружать,
Вздыхать и думать про себя:
Когда же черт возьмет тебя!

Сочинила этот нехитрый стишок Миля Шторх. Она же играла на фортепиано, под собственный аккомпанемент пела песенки Вертинского, которыми молодежь особенно увлекалась, а для Алексея Алексеевича они были внове. К современной поэзии девушек и профессора приобщала Ида Каплан. Она была в курсе литературной жизни Питера, была знакома с «Серапионовыми братьями», посещала собрания их кружка.

Хотя Алексей Алексеевич был добр и внимателен ко всем студенткам, вскоре было замечено, что Иде Каплан он отдает предпочтение. (С Колей Владимирским отношения, наоборот, стали портиться.)

Динамику отношений Ухтомского с Идой Каплан в те летние месяцы, проследить невозможно: общаясь ежедневно по много часов, писем друг другу они не писали, дневниковых записей Алексей Алексеевич тем летом не вел или они не сохранились, А. В. Казанская в своих воспоминаниях эту деликатную тему целомудренно обошла.

С уверенностью можно сказать только одно: за эти счастливые месяцы 19-летняя Ида стала для 47-летнего профессора центром вселенной. Вокруг нее вращались, на ней были сосредоточены его самые светлые помыслы и самые благородные чувства. Чем она его обворожила? Об этом ничего не известно. Вероятно, она была очень красива, но это лишь предположение: фотографий ее я нигде не нашел, как и описания ее внешности. Моя просьба, обращенная к ее сыну, сообщить подробности о матери, осталась безответной. Но имеются письма Ухтомского, которые посыпались на нее после возвращения из Александрии. В одном из них приводятся выписки из несохранившегося дневника, но они относятся ко времени, когда лучшая пора их отношений была уже на исходе. В дневнике он обращается к ней на «ты», чего никогда не позволял в письмах. Она для него – Солнце, обогревающее Землю; с приближением осени «Земля» стала чувствовать, что Солнышко греет все неохотнее, все чаще его обволакивают тучи.

21 августа (3 сентября по новому стилю), еще в Александрии он записал, а потом процитировал в письме:

«Дорогое Солнышко, будем ли мы видеться зимою?» «Но ведь я не знаю, когда можно прийти к тебе с уверенностью, что ты в своей зачерствелой суровости не вздумаешь отвернуться от меня. Один день ты можешь быть мне рада, а в другой я окажусь тебе в тягость»⁴³.

После возвращения в Петроград он стал писать ей длинные послания, несмотря на то, что они постоянно виделись в университете. Письма пронизаны трогательной заботливостью, нежностью, теплотой и – печалью. «Дорогая Ида», она же «дорогой мой человек», она же «моя родная труженица», «мой прекрасный друг», «мое сокровище», она же – «моя нечаянная радость и великая печаль».

Он в постоянной тревоге за нее. Он пытается быть ей нужным, полезным, но боится оказаться навязчивым.

Он просит ее быть «такой сердечной» и не отказаться «покушать нашей стряпни» – ее приготовила их общая приятельница по Александрии, работавшая в соседней лаборатории биохимии, Вера Федоровна Григорьева.

Профессорам в то голодное время уже полагался усиленный паек, не доступный простым смертным, и он упрощает ее согласиться на то, чтобы он брал для нее с фермы молоко.

Он глубоко встревожился, когда она пришла в университет не совсем здоровой, с побледневшим лицом и побледневшими губами, и просил ее остаться дома, не ходить на занятия: «Ну, укрепляйтесь же и отдыхайте!» «Я буду рад знать, что Вы отдыхаете, крепнете, читаете, лежите, думаете в свое удовольствие».

Он сильно скучает без нее, хочет, чтобы она приходила к нему почаще, но тут же одергивает себя и просит ни в коем случае не приходиться «через силу», а только когда она сама чувствует в этом потребность.

Пришла весть о кончине его учителя профессора Н. Е. Введенского, Алексей Алексеевич должен был выступить с докладом о его научной деятельности. Он тотчас шлет просьбу

⁴³ Здесь и далее письма Ухтомского к И. И. Каплан цитируются по: А. А. Ухтомский. Лицо другого человека, стр. 504–542.

своему «сердечному другу»: не найдет ли она возможным присутствовать на докладе – «это тяжелое для меня испытание было бы облегчено для меня чувством, что Вы тут».

Он просит показать фотографии ее родителей, и когда она приносит несколько семейных фотоснимков, рассматривает их с трепетным умилением, а потом шлет слова благодарности:

«Спасибо Вам, мое сокровище, что показали карточки Ваших папы, мамы и себя, – такой маленькой и беззащитной посреди своего садика, между папой и братом».

Однако Ида приходит все реже, в университете встречается с ним только по делу, и так, чтобы не оставаться наедине. Он это чувствует и изливает свои чувства в нескончаемых письмах, которые пишет с перерывами, по нескольку дней, стараясь раскрыть перед нею свои душевные порывы и духовные искания.

В большом письме от 30 ноября он признается:

«Я начинаю и бояться, что надоем Вам этими длинными речами посреди Ваших новых интересов. Но уж простите меня за назойливое желание побыть с Вашей душой хотя бы лишь через письмо!»

Но, увы! Отношения становятся все более отдаленными, и то, что еще вчера было настоящим, неумолимо уходит в прошлое:

«Я счастлив уже тем, что знаю Вас, – пишет он ей 20 января следующего года. – Вы были для меня вполне незаслуженным собеседником, незаслуженным счастьем, Божиим даром. Нынешнее отчуждение Ваше от меня я признаю вполне заслуженным, хоть и больно оно для меня».

Итак, в январе 1923 года «незаслуженное счастье» было уже позади. Переписка приостанавливается. Следующее письмо датировано 15 апреля, но является чисто деловым, хотя пронизано прежней нежностью:

«Дорогая Ида, на случай если Вы пожелали бы быть на докладе о Вашей летней работе⁴⁴, сообщаю, что доклад будет сделан в отделении зоологии и физиологии Петроградского Общества естествоиспытателей в этот четверг 19 апреля в 7 час[ов] вечера. Повестку прилагаю. Примите мое приветствие с днем Вашего двадцатилетия, которое исполнилось или исполнится в эти пасхальные дни. Дай Бог Вам света, счастья и необманной радости. Буду счастлив, зная, что Вы счастливы. Проходя по университетскому коридору, случайно прочел в одном объявлении, что Вы освобождены от платы за учение в 22/23 академическом году. Если Вы еще этого не знаете, я рад сообщить Вам эту весть. Ваш преданный А. Ухтомский».

Ида, конечно, пришла на заседание, на котором докладывалась их совместная работа. После выступления Алексей Алексеевич ревниво расспрашивал ее, понравился ли ей доклад. Он передал ей текст и предложил сделать к нему краткое резюме на английском языке для совместной публикации в научном журнале. В следующем письме, от 3 мая, тоже в основном деловом, он ей писал:

«Ко мне пристают павловцы, чтобы я доложил им на физиологических Беседах⁴⁵ о Доминанте и связанных с нею работах. Я пока чувствую себя слишком скверно и слабо [после перенесенной болезни], чтобы взять на себя какие-нибудь обязательства и обещания. Я ответил пока лишь принципиальной готовностью сделать им доклад и повторить доклад Вашей работы. При этом мне хотелось бы, чтобы доклад Вашей работы был сделан Вами. Дело, конечно, не в перечитывании вновь того, что читано мною в Обществе Естествоис-

⁴⁴ Речь идет о докладе по материалам экспериментальной работы, выполненной И. И. Каплан в Александрии под руководством Ухтомского.

⁴⁵ Речь идет о знаменитых «Павловских средах» – семинарах, на которых обсуждались новейшие работы по физиологии.

пытателей. Вы, я надеюсь, взяли бы на себя не без удовольствия самостоятельную переработку материала. А после работы сокращения и конденсирования доклада для иностранного резюме это было бы и нетрудно».

Выступить на семинаре у Павлова! Любой студентке такое предложение вскружило бы голову.

Ида с готовностью согласилась и также изъявила готовность летом снова поработать в Александрии, дабы продолжить свои исследования. Но тут вмешались *высшие силы*, все планы рухнули – об этом речь впереди.

Продолжая заниматься на кафедре Ухтомского, Ида все яснее понимала, что физиология – не ее стезя. Вне университета они больше не виделись. Но он продолжал ей писать, испытывая неиссякаемую потребность выговориться.

«Пробежали прекрасные, горячие, солнечные дни прошлогодней Александрии, и их нет. Слава Богу за них! Для меня это был подарок на всю жизнь, такой незаслуженный, такой необыкновенный».

Дистанция между ними неумолимо удлинялась, он принимал это со смиренной горечью, зная по опыту, «что прекрасное бывает редко, ненадолго, и дается людям скупо!»

Он снова и снова исписывал страницу за страницей, не в силах остановиться.

«Какое наказание я Вам доставляю! Все пишу и пишу, – продолжал он в письме от 14 октября. – Это за то, что Вы мне не показываетесь, отучили говорить с Вами, а потребность говорить Вам во мне неиссякающая! <...>. Я чувствую, мое сокровище, что я для Вас источник недоумения, – оттого Вы и перестали говорить со мной. Недоумение мучительно. Но у меня-то живая потребность говорить с Вами о том, чем я живу, – передать Вам то хорошее, что еще осталось у меня. Когда заглохнет во мне жизнь, тогда я сам заглохну, перестану говорить с Вами».

Неизвестно, что ответила Ида на эти излияния, но из ответа на этот ответ видно, что Алексей Алексеевич продолжал ее боготворить:

«Вы правы почти во всем. Прекрасная совесть дает Вам прекрасную чуткость и чутье. Я помню, – Вы говорили, что я Вас не знаю. Я Вас знаю и люблю именно такую, какую Вы раскрываетесь в этом письме. Мимо меня прошло что-то удивительно прекрасное, прекрасное человеческое лицо, которое будет для меня навсегда светлым огоньком в дали уходящей жизни. Хочу одного: чтобы этот огонек был счастлив, и не призрачно, а серьезно и полно. Ваше слово «не трогать Вас больше» я свято исполню. Вы пишете о тех или иных Ваших сторонах, за которые я мог Вас ценить. Уверяю Вас, что ценны и нужны мне были только ВЫ, а не ВАШЕ. Искал я в Вашем обществе не удовольствия, не счастья, не успокоения, а только Вас <...> Да будет благословен и светел Ваш жизненный путь. Прощайте, мой ненаглядный друг, не поминайте лихом и простите».

Так завершился этот недолгий роман.

Последний привет от нее он получил через год и тотчас на него отозвался:

«Дорогая Ида, спасибо Вам за милое письмо. Я не сумею передать Вам, какую радость доставило мне неожиданное чтение Ваших строчек. Как будто пришла весточка с того света, через пустынные пространства мира, от давно умершего для меня друга, из давно ушедшего от меня мира! Я привык, освоился с тем, что для меня невозможно конкретное общение с тем, что там, и ушедший друг отделен все растущим непроницаемым расстоянием. И вдруг оттуда приходят живые строки, написанные живою рукой! <...> Если у Вас есть мысль, что от нашей встречи возникло что-то, в самом деле, ценное для Вас, то пусть оно не умрет, пусть поможет Вам в жизни. Я живу этой верой и хочу, чтобы Ваша жизнь была хороша для Вас и для людей. Ужасно счастлив от мысли, что мог дать Вам хоть каплю доброго».

Ида Каплан вышла замуж за писателя Михаила Слонимского, одного из Серапионовых братьев. Она прожила долгую и, по-видимому, счастливую жизнь. Вырастила сына, ставшего известным композитором. Алексей Алексеевич Ухтомский остался для нее воспоминанием далекой молодости, которое она свято хранила. Умерла в 1998 году, в возрасте 95 лет.

Осенью того же 1924 года ученицей Ухтомского стала Елена Бронштейн.

«Впервые я разговаривала с А. А. Ухтомским на экзамене по курсу общей физиологии в 1924 г. Эту встречу я запомнила на всю жизнь. Спрашивал он меня не по билетам, и при ответе на каждый вопрос приходилось напряженно думать. Иногда я ловила на себе, как мне тогда казалось, его насмешливый взгляд и при этом чувствовала, что отвечаю очень плохо. После экзамена Алексей Алексеевич поставил мне в зачетную книжку высшую в то время оценку «весьма удовлетворительно» и предложил работать у него в лаборатории»⁴⁶.

⁴⁶ А. А. Ухтомский в воспоминаниях и письмах, стр. 71.

Глава шестая. «Душечка» и Душа

1.

Алексей Алексеевич Ухтомский родился в 1875 году, 13 (25) июня, в селе Вослома Арфинской волости Рыбинского уезда Ярославской губернии, в родовом имении князя Алексея Николаевича Ухтомского. Соседним уездом был Пошехонский, кругом царила Пошехонская старина. Со времен Солтыкова-Щедрина, столь страстно ее ненавидевшего, здесь мало что изменилось. Но Ухтомский впитал из нее совсем иные впечатления.

Род Ухтомских восходил к Великому князю Всеволоду Юрьевичу Большое Гнездо (1154–1212), сыну Юрия Долгорукого, прямого потомка Рюрика. Один из птенцов Большого Гнезда получил земли по речке Ухтомке, от нее и пошла фамилия Ухтомских. Алексей Ухтомский гордился своим происхождением, хорошо знал свою родословную, помнил о предках, оставивших след в российской истории. В их числе Василий Иванович Ухтомский, храбрый воин, чей ратный подвиг вдохновил известного художника Андрея Рябушкина на создание картины «Князь Ухтомский в битве с татарами на Волге в 1469 году». Алексей Алексеевич знал, что этот далекий пращур кончил свои дни плачевно: был казнен в Москве в 1488 году великим князем Иваном III. Другой Василий Ухтомский, живший при Иване IV (Грозном), отличился при взятии Казани, а не менее бравый Михаил Ухтомский, в годы смуты, сражался с поляками и «воровскими шайками» около Вятки. Князья Ухтомские участвовали в обороне Севастополя. Один из них, молодой лейтенант Леонид Алексеевич Ухтомский, адъютант адмирала Нахимова, стоял рядом с ним под обстрелом на Малаховом Кургане, когда легендарного адмирала сразила вражья пуля. Будучи уже глубоким стариком, Леонид Алексеевич, сам дослужившийся до адмиральского чина, рассказывал маленькому Алеше, как подхватил падавшего Нахимова, который скончался у него на руках. Как раз в этот момент другой молодой лейтенант Ухтомский, Николай Николаевич, родной брат Алешиного отца, въезжал в Севастополь в фельдъегерской коляске с царским приказом о награждении Нахимова Георгиевским крестом. Получить награду герой Севастополя не успел.

Ухтомский с гордостью вспоминал, что под Севастополем воевали и другие его родичи: Николай Михайлович Наумов и Александр Дмитриевич Ратаев, который привез в Вослому трофейное ружье с ударным замком. На ружье было выжжено французское имя, и маленький Алеша, играя с этим ружьем, допрашивал его, помнит ли оно того солдата, с которым отплыло из Франции, помнит ли гром орудий в горячем Крыму и своего хозяина, оставшегося лежать в чужой далекой земле; помнит ли оно, как его завезли в глухие болотистые леса Ярославского Заволжья и забыли в углу темного сарая, рядом с лопатами, граблями и оглоблями.

Военное поприще было не единственным, на котором отличались князья Ухтомские. Князь Дмитрий Васильевич в славный век Екатерины возглавлял «архитектурную команду» в Москве, воспитал плеяду учеников, включая такие знаменитости, как В. И. Баженов и М. Ф. Казаков. Но, пожалуй, наиболее известен был старший современник Алексея Алексеевича, географ, путешественник, журналист, издатель, государственный деятель Эспер Эсперович Ухтомский, знаток Востока, автор трудов о буддизме. Эспер Эсперович был близок к царской семье. Когда цесаревич Николай Александрович (будущий император Николай II) отправился в кругосветное путешествие, сопровождал его князь Э. Э. Ухтомский. Он выпустил трехтомный труд об этом путешествии, книга имела успех и была переведена на основные европейские языки.

Алексей познакомился с Эспером Эсперовичем 12 сентября 1899 года и вынес о нем впечатление как об «очень милом и теплом человеке»⁴⁷. Эспер Эсперович ввел Алексея Ухтомского в придворные круги.

Однако, гордясь знатностью своего рода, Алексей Алексеевич никогда ею не кичился. Ему это было глубоко чуждо. В 1920 году его избрали депутатом Петроградского совета рабочих депутатов. Выступив с речью, он сказал:

«Меня очень удивило выставление меня кандидатом в депутаты именно в такой момент, когда на всех перекрестках вы можете читать во всяких газетах, что никому, кроме коммунистов не должно быть доступа в Совет, и выбирать необходимо только коммунистов. Между тем вам всем известно, что я не коммунист. <...> Я вполне убежденный беспартийный, и не потому, что не нашел партии, которая бы меня удовлетворила, а потому что партий и перегородок никогда не искал и не могу искать, будучи противником всех этих человеческих подразделений. <...> Этому я хотел бы приписать и настоящее мое избрание в депутаты: в ответ на мое отношение к человеку независимо от человеческих перегородок, и вы – как я хочу понимать настоящий момент, – смотрите сейчас независимо от каких бы то ни было перегородок и видите во мне просто человека»⁴⁸.

Смотреть на людей *без всяких перегородок* его приучили с раннего детства.

Отец будущего ученого князь Алексей Николаевич Ухтомский был человеком со странностями. Следуя семейной традиции, он окончил кадетский корпус в Нижнем Новгороде, служил во флоте, на военных кораблях Балтики, но карьера его не задалась. Прослужив десять лет, он вышел в отставку в самом нижнем офицерском чине – мичмана. Стал служить в канцелярии Ярославского губернатора, но это длилось недолго. Распрощавшись со службой, он поселился в своем небогатом имении неподалеку от Рыбинска, стал председателем уездной земской управы. Но главной страстью князя было врачевание. Он лечил крестьян, ремесленников и всякий люд, съезжавшийся со всей округи, народными средствами: в их целительное действие он глубоко верил. Так, чахоточным больным он прописывал спать в конюшне, полагая, что воздух, пропитанный испарениями конского пота и мочи, для них целителен. Еще он прописывал им пить молоко с дегтем. Насколько помогало его врачевание, судить трудно. Платы он с пациентов не брал, «практика» приносила только убытки. Алексей Николаевич отдавался этому делу из великодушия и чувства долга.

О том, как содержать свое большое семейство, он не беспокоился, переложив заботы на супругу Антонину Федоровну. Деловая и решительная княгиня обладала твердым характером и коммерческой сметкой. Она пускалась в финансовые операции, не очень приличные для родового дворянства, но ее, это нимало не беспокоило. Она играла на бирже, давала ссуды под заклад, занималась скупкой и перепродажей домов и имений. Она крепко держала в руках бразды правления, никому не давала спуска и, прежде всего, своим подраставшим детям.

Детей было пятеро: три мальчика Александр, Алексей и Владимир (рано умерший), и две девочки – Елизавета и Мария. В чем состояли ее методы воспитания, неизвестно, но Алексею они не нравились. Настолько, что родную свою мать он невзлюбил и до конца жизни испытывал к ней неприязнь. Только когда она умирала – на его глазах, в 1913 году, – он осознал, что «она была страстной натурой, гордой и честолюбивой матерью, и ее огромная трагедия [была] в том, что дети, которым она посвятила жизнь, не оправдали ее упований и не оценили ее трудов». Алексея Алексеевича долго потом грызла мысль, что он «доставил ей много огорчений своим непониманием и отчужденностью». Так записал с его слов В.

⁴⁷ А. Ухтомский. Лицо другого человека, стр. 114. Дневниковая запись от 12 сентября 1899 г.

⁴⁸ А. Ухтомский. Лицо другого человека, стр. 185–186.

Л. Меркулов весной 1932 года⁴⁹. Однако и после смерти матери он говорил о ней редко и с недобрим чувством. В 1922 году, придя однажды к Алексею Алексеевичу, Анна Коперина застала его необычайно хмурым, с письмом в руках. Оказалось, что его расстроило письмо сестры Марии, пожелавшей его навестить. «Не люблю я ее – она вся в мать! – объяснил Алексей Алексеевич удивленной студентке. – И незачем ей сюда ехать! Помочь ей – я всегда помогу. Ведь не в этом дело»⁵⁰. Тут же он пояснил, что его другая сестра, Лиза, к тому времени уже покойная, была совсем другой: чуткой, деликатной, самоотверженной. Она вышла замуж за его товарища, а он вскоре заболел чахоткой. Ночевки в конюшне не помогли. Лиза все силы свои положила на то, чтобы вылечить мужа, сама заразилась и умерла.

Что Алексей Алексеевич ответил тогда сестре Марии, неизвестно, но она к нему не приехала.

Столь суровое отношение к матери, даже к памяти о ней, тем более удивительно, что старший его брат Александр считал мать «идеально доброй женщиной», хотя ему терпеть ее всевластие приходилось куда больше, чем Алексею.

Алеше было чуть больше года, когда его отдали на воспитание старшей сестре отца княжне Анне Николаевне, и она увезла его в Рыбинск, где был у нее свой приземистый домик. Этот домик, на Выгонной улице в Рыбинских Зачеремушках, и стал его родным домом, а тетя Анна – самой большой, самой глубокой и самой нежной его привязанностью.

«Мне было дано громадное счастье в том, что я в детстве и юности глубоко и неразрывно любил и чувствовал тетю; это как бы разбудило меня на всю дальнейшую жизнь, заставив почувствовать и понять, как драгоценен, в то же время – непрочен и хрупок всякий человек», – писал он Е. И. Бронштейн⁵¹.

2.

Княжна Анна Николаевна была старой девой, личной жизни у нее не было, щедроты своего любящего сердца она отдавала племяннику. Впрочем, ее хватало и на многих других.

Она была «душечкой». Той самой – героиней чеховского рассказа. Но только «совсем не смешная, как показалось преобладающему множеству чеховских читателей». «Под влиянием того, что знал мою тетю, я совсем особенным образом воспринял «Душечку» Чехова. Помните, как она расцветала на глазах у всех, если было о ком мучиться и о ком заботиться, и увядала, если в заботах ее более не нуждались?» (Так же воспринял рассказ Чехова Лев Николаевич Толстой – это совпадение не случайно!)

Тетя Анна «имела возможность относительно покойно и безбедно жить в своем углу с некоторым «комфортом», – пояснял Ухтомский. – Фактически она обо всем этом забывала и тряслась по осенним проселочным дорогам в распутицу, оставляя все свое, и с опасностью для жизни в ледоход тронувшейся Оки под Нижним переправлялась на ту сторону, и все потому, что у нее не было жизни без тех, кого она любила... А любила она, можно сказать, всех, кто ей попадался, требуя заботы о себе. То она воспитывает своих младших братьев в громадной семье моего деда, то берет к себе осиротевших детей от прежних крепостных, потом отдается целиком многолетнему уходу за параличной матерью, в то же время подбирает двух еврейских девочек, оставшихся после заезжей семьи, умершей от холеры, и отдается этим девочкам с настоящей страстью, потом, схоронив мать свою, берет меня, на этот раз с тем, чтобы умереть на моих руках. Под влиянием живого примера тети я с детства

⁴⁹ В. Л. Меркулов. Алексей Алексеевич Ухтомский. Очерк жизни и научной деятельности (1875–1942). М. – Л., Изд-во АН СССР, 1960, стр. 13.

⁵⁰ А. А. Ухтомский в воспоминаниях и письмах, стр. 65.

⁵¹ «Пути в неизвестное», № 10, стр. 413. Письмо от 28 июня 1928 г.

привыкал относиться с недоверием к разным проповедникам человеколюбивых теорий на словах, говорящих о каком-то «человеке вообще» и не замечающих, что у них на кухне ждет человеческого сочувствия собственная «прислуга», а рядом за стеной мучается совсем «конкретный человек» с поруганным лицом»⁵².

В письме к другой своей confidentке он писал:

«Недавно мне доставили старые письма, которые мне писала тетя Анна в [Кадетский] Корпус, между ними и некоторые письма к тете в ответ из Корпуса в Рыбинск. Так все это переживалось теперь, через 40 лет, точно происходило вчера! Так ясно было значение моей любви к тете и ее лица для моего роста! Для меня то были нелегкие годы, в ранней юности приходилось сталкиваться с суровыми и нехорошими сторонами жизни; и вот весеннее солнышко в лице тети и моего единения с нею выправляло все <...>. И смысл, и цель, и полнота, и живое содержание человеческой жизни – в обществе, в общем деле с такими же другими, в способности раствориться в жизни других, то есть в любви (конечно не в смысле Эроса <...>). Вот оттого в нас и оказывается таким солнышком, дающим содержание и направление на всю последующую жизнь, это безраздельное единство в детстве и юности с нашими ближайшими воспитателями»⁵³.

Тетя Анна умирала от рака – долго и тяжело. Он видел ее страдания, понимал неизбежность скорой разлуки, и мысли об этом терзали его душу. Свои переживания он изливал в дневнике, эти записи невозможно читать без глубокого волнения:

«Я не могу быть довольным действительностью даже тогда, когда нарочно смотрю лишь на лучшие ее стороны. Вот, например, – сейчас, еще жива моя единственная тетенька, я еще увижу ее, еще буду с ней, Бог даст, говорить, еще она пожалеет меня; разве это не такие сладостные минуты, о которых через несколько месяцев, может быть, я буду со скорбью вспоминать, как о безвозвратно утерянных? Я понимаю, *сколь велики и хороши эти минуты*; и между тем вижу, что у меня нет сил выпить их сполна, испить до дна их благо. Нет, очевидно, и тут есть очень многое, чего надо *желать* и просить у Бога... Итак, я еще должен впереди учиться, воистину насладиться до полноты – *полнотою жизни моей ненаглядной, моей единственной старушки*. Господи! Я Тебе только и только Тебе, который любит ее, мою единственную старуху, моего единственного друга, мою «печальницу», – более несравненно, чем я, – Тебе только отдам ее с истинной радостью. Возьми ее, успокой, утешь ее, скорбную, неутешную, укрой ее, столько перетерпевшую, утешь ее, столько плакавшую, прости ее, столь любившую людей и Тебя, утешь ее в тех, кого она любила, наконец, *дай ей полноту жизни, Твоей святой, блаженной жизни...*

Ужасная невыносимая тяжесть на груди. Я верую, и *Господь поможет моему неверию*, что тетя идет к тому, кто любит ее так, как ни я и никто другой ее любить не может. Но ее страдания? Я и тут верую, что Господь облегчит их, спасет даже ее от них. Но еще мысль: как же я буду жить без нее? Как это я больше не буду знать, что она ждет меня, моя тихая, любящая, ждет, чтобы обогреть, попечаловаться обо мне. Господь, помилуй и поддержи!

Нет, я *без нее*, собственно, прямо жить не могу. Я должен быть уверен, что она продолжает *печаловаться* обо мне, следить за мной, стоять между мной и Всемилоостивейшим Богом, молиться непрестанно обо мне. Спаси нас с ней, Господи! Спаси нас всех!»⁵⁴.

Смерть тети Анны (1898) стала для 23-летнего Ухтомского таким потрясением, какого он не испытывал больше никогда в жизни, хотя потрясений в ней было предостаточно. Через

⁵² Там же, стр. 386–387.

⁵³ А. Ухтомский. Лицо другого человека, стр. 633–634. Письмо к Ф. Г. Гинзбург от 25 декабря 1931 г.

⁵⁴ Там же, стр. 88–89. Дневниковая запись, 12 декабря 1897 г.

20 лет он вспоминал об этой минуте с той же острой болью в душе: «Я с самого молодого возраста знаю ту муку, на которую обречена в мире подлинная любовь и которую я пережил, лишившись покойной тети»⁵⁵.

Душевная связь с тетей Анной была у него настолько прочной, что даже смерть не смогла ее ослабить, лишь крепче привязала Алексея к церкви, ибо «это единственное место, где наверное говорят, что моя тетя ЖИВА; единственное место, где тетя моя явно жива, – куда не входят, если тетя не жива»⁵⁶.

Свою трепетную любовь к тете Анне он перенес и на ее домик, в котором ему было так тепло и уютно. Уже на закате жизни он часто возвращался в него в своих мыслях: вспоминал мягкий диванчик в простенке между двумя окнами, на который он любил забираться с ногами, пока служанка Евгения Васильевна подметала пол. Из-за уборки овальный столик от дивана был отодвинут. Сквозь разноцветные оконные стекла пробивались солнечные лучи. В руках он держал маленькую книжку – по ней тетя учила его читать.

Любовь к домику тети Анны сливалась с любовью к родным заволжским местам, к своей малой родине.

В стародавние времена глухие леса Заволжья служили убежищем для староверов. Не приняв церковную реформу Никона, они бежали сюда от преследований светской и церковной власти. Под защитой дремучих лесов и топких болот они здесь могли жить по заветам отцов, бережно сохраняя древние предания, чувство братства между *сотаинниками*. Здесь они постепенно укоренялись, обзаводились хозяйством, но со временем леса вырубались, болота осушались, прокладывались какие-никакие дороги, по ним, со звоном бубенцов, приезжали светские и церковные начальники. Перед местными жителями вставала дилемма: покориться бесовской власти или снова сниматься с насиженных мест и уходить дальше, в еще более глухие места. Слабые духом шли на компромиссы: внешне покорялись, затаенно продолжая держаться старой веры и обычаев; громко молились за царя-батюшку и мысленно проклинали его как антихриста. Стойкие снимались и уходили дальше в глушь. Обживались и через поколение-другое снова оказывались перед той же дилеммой. «Хозяйство, привычка к своей земле и к родному углу, неизбежные браки с чужими, а за этим – вновь и вновь исправник, правительственный миссионер и всякая мирская нечисть. На человеческой слабости искони ловился человек, как карась на приманку!» – писал А. А. Ухтомский⁵⁷.

Тем большее восхищение вызывали у него те, кто продолжал уходить от «мирской нечисти», отказываясь вообще от хозяйственного обзаведения, считая грехом «иметь постоянное место жительства, постоянный кусок хлеба, паспорт и приписку к месту». Божьи странники жили исключительно подаением, полагая, что «воспитывают в себе силу закаленного смирения, а в других – силу человеческого милосердия»⁵⁸. С видимой гордостью за них Ухтомский писал своей ученице:

«Таковы наши странники, бедные мужики заволжских весей – отдаленные духовные *потомки еврейских пророков, бежавших от городов и благ современного им человеческого жилья, предвидя их неизбежную гибель, во имя Будущего!* Я спрошу Вас: кто мудрее – исправники, священники, профессора и министры, которые при Екатерине и Николае I объявляли, что своей политикой строят нерушимый «зде пребывающий град Великой России», или темные мужики-странники, принципиально уходившие ото всего этого кровавого и блестящего тризница в убеждении, что всему этому конец на носу и только Правда пребывает и ведет к всечеловеческой радости? Я думаю, что странники мудрее! С далекого детства я

⁵⁵ «Пути в незнаемое», вып. 10, стр. 411. Письмо к Е. И. Бронштейн-Шур от 15 марта 1928 г.

⁵⁶ Ухтомский. Лицо другого человека, стр. 108–109. Дневниковая запись, 9 августа 1899 г.

⁵⁷ Там же, стр. 607. Письмо к Ф. Г. Гинзбург от 17–18 ноября 1927 г.

⁵⁸ Там же, стр. 608.

чувствовал себя с ними, а не с исправниками, священниками, профессорами и министрами, хоть и попал сам в профессора! Но я – профессор странник»⁵⁹.

Прекрасно зная историю старообрядчества, Ухтомский с увлечением рассказывал о протопопе Аввакуме, боярыне Морозовой, о других мучениках за веру, о групповых, целыми деревнями, самосожжениях тех, кто предпочитал гибель вероотступничеству. В сказаниях и легендах о былом он видел живую душу народа; *соборность* простых людей. Их открытость к каждому встречному он противопоставлял образованному обществу, зараженному, по его мнению, рационализмом, солипсизмом⁶⁰ и «европейским» индивидуализмом.

В студенческие годы, да и позднее, будучи почтенным приват-доцентом университета, он почти каждое лето, закинув котомку за спину, отправлялся в пешие походы по волжским и вообще среднерусским лесам, деревням и весям, черпая душевные силы из общения с природой и простыми людьми – крестьянами, мастеровыми, дровосеками, плотогонами, странниками, торговым и иным людом. Князь был поразительно неприхотлив: ночевал, где придется – нередко, под деревом на голой земле, подложив котомку под голову; ел, что придется – бывало, целыми днями не ел ничего, кроме лесной ягоды.

Он жадно впитывал рассказы случайных попутчиков о своей жизни, любил слушать народные сказания и предания, цепко запоминал подробности. Он вслушивался в особенности речи жителей разных мест; характерные для них словечки, выражения, интонации навсегда западали ему в память. Уже в пожилом возрасте, никуда не выезжая из Ленинграда, он, по двум-трем словам собеседника безошибочно угадывал, из какой тот местности и из какого слоя общества. Его особым расположением пользовались земляки-волжане, волгари, как он их называл. До конца жизни он радовался встрече с каждым из них, никогда их не забывал, поддерживал связи со всеми, с кем было возможно. И мысленно снова и снова отправлялся в родные места, находя даже много преимуществ в том, чтобы присутствовать там только виртуально, «не таская за собою свою тяжелую и массивную персону».

3.

Восьми лет он был отдан в Рыбинскую гимназию и до конца жизни с теплотой вспоминал учителей Василия Николаевича и Василия Матвеевича – они казались ему очень умными, и законоучителя отца Николая – он был добрым. В гимназии он проучился пять лет, вспоминал их как очень счастливые годы. Он рассказывал о них со вкусом, со многими живыми подробностями, словно речь шла о случившемся вчера, а не 30–40 лет назад. Когда друг детства А. А. Золотарев спросил его, откуда это чудо его памяти, он ответил:

– Памяти дает силу и крепость любовь. На любовь наворачтываются все впечатления, как на веретено. Не будет любви, не будет и памяти.

Когда ему исполнилось 13 лет, он был определен в кадетский корпус им. графа Аракчеева в Нижнем Новгороде. Такова была семейная традиция. Этот кадетский корпус окончил его отец, сюда был отправлен старший брат Александр, и для родителей было вполне естественно сюда же определить Алексея.

Отправки в корпус он ждал с мальчишеским нетерпением и, проходя по улицам Рыбинска в надоевшей гимназической шинели, представлял себе, как через год, на каникулах, будет здесь щеголять в молодцеватой форме кадета. Но когда, оказавшись, наконец, в корпусе, среди чужих незнакомых подростков, спешивших на построение, и суровых воспита-

⁵⁹ Там же, стр. 608–609.

⁶⁰ Солипсизм (от лат. *solus* – «единственный» и лат. *ipse* – «сам») – философская позиция, признающая несомненно существующим только собственное индивидуальное сознание. Весь окружающий мир – это только иллюзия, порожденная сознанием индивида. В этике термином «солипсизм» обозначают крайние формы эгоизма и эгоцентризма.

телей-офицеров, он увидел в окно согбенную спину удаляющейся тети Анны, сердце его захолонуло от боли и одиночества. Подросток с нежной, ранимой душой попал в чуждую среду, где царили порядки казармы, за малейшую провинность сажали в карцер, а то угощали и розгой.

Казенная атмосфера закрытого военного заведения была для него удушающей. В свободные минуты, вместе с приехавшим с ним из Рыбинска гимназистом Андреевым и другими новичками, он любил убежать в сад, но это строго запрещалось, и горе было тем, кто попадался на глаза грозному дядьке-надзирателю. На втором году пребывания Алексея в Корпусе в нем вспыхнула эпидемия дифтерита. Беспощадная болезнь унесла восьмерых кадетов, в их числе близких друзей Алексея. Сам он уцелел, но выздоравливал долго, пропустил много занятий и уехал на каникулы с двумя переэкзаменовками.

Сиро и одиноко было ему в кадетском корпусе! Только переписка с тетей и ее редкие приезды помогали поддерживать душевное равновесие от каникул до каникул, на которые он, конечно, уезжал в родные места.

Здесь ему было хорошо! Хорошо было бродить по лесам, купаться в речке, в горячую пору сенокоса подыматься затемно, чтобы, встроившись с косой в общий ряд с мужиками, махать ею от зари до зари, а потом, испытывая сладкую ломоту в перетруженном теле, блаженно валяться на сеновале, прислушиваясь к тому, как затихают внешние звуки и становится все слышнее тихий рокот реки – великой вековой труженицы. Так он мог долго лежать без сна и размышлять о том, как приходили и уходили в лучший мир поколения предков, а река все струилась и струилась, перекачивая по дну камня, подтачивая исподволь берега, намывая песчаные отмели, делая свою неустанную работу и не замечая того, что происходит на ее берегах. В бессонной истоме его охватывало особое чувство слияния с природой с вековым укладом жизни, с прошлым и будущим.

Обучение в Кадетском корпусе не ограничивалось муштрой и военными дисциплинами. Кадеты изучали иностранные языки, математику, историю, естественные науки. По утверждению близкого друга Ухтомского А. А. Золотарева, учеба в Кадетском корпусе оказала большое влияние на Алексея Алексеевича. Он «очень высоко ставил это свое военное образование и всегда с горячей благодарностью говорил о своих корпусных преподавателях и воспитателях». А брат А. А. Золотарева Сергей, литератор и педагог, много работавший в военных учебных заведениях, «особенно подчеркивал в манере мышления, разговора и письменного изложения своих мыслей у Ал. Ал. именно его военную школу»⁶¹.

Математику в Корпусе преподавал уже упоминавшийся Иван Петрович Долбня, человек чуткий и всесторонне образованный, будущий профессор, а потом и ректор Горного института в Петербурге.

Ухтомский вспоминал добром и других учителей, в особенности А. И. Кильчевского. Это был «милый и мудрый старик, воспитывавший нас и нашу мысль на Аристотеле. Уроки его были совсем особенные: не было заданий и формальных опросов. Он приходил в зимние утренние часы и, в полутемном классе, начинал, как он сам выражался, «бредить», поднимая вопросы логики, эстетики и литературы»⁶².

Учеба давалась Алексею легко, оставалось время и на самообразование. Книги для неурочного чтения он подбирал очень тщательно, в этом ему помогал чуткий наставник И. П. Долбня. В. Л. Меркулов, просматривая рабочие тетради кадета Ухтомского, обнаружил в них выписки из сочинений Аристотеля, Декарта, Спинозы, Канта, Гегеля, Фейербаха. Выписки

⁶¹ <http://rudocs.exdat.com/docs/index-380470.html?page=14>

⁶² Ухтомский. Лицо другого человека, стр. 531. Письмо к И. Каштан от 14 октября 1923 г.

сопровождались собственными комментариями, из них видно, как его мучили «противоречия философских систем, стремящихся объяснить законы бытия»⁶³.

Каждая система объясняла их по-своему, значит, неверно или, как минимум, односторонне. С юношеским максимализмом он ставит перед собой задачу – найти эти законы!

Чем ближе подходили выпускные экзамены, тем становилось яснее: для военного поприща он не создан. Окончив корпус в 1894 году, Алексей категорически отказывается поступать в Академию генерального штаба, куда его пытался определить отец, но твердо решает учиться дальше.

Его старший брат Александр первым порвал с семейной традицией. Он был почти на три года старше Алексея и Кадетский корпус окончил на три года раньше. А затем, вопреки протестам родичей, поступил в Московскую духовную академию, располагавшуюся в Троице-Сергиевом посаде. На это решение повлияла случайная встреча братьев на волжском пароходе, когда они на очередные каникулы возвращались из Нижнего Новгорода в Рыбинск, с широко известным проповедником Иоанном Кронштадтским. Знаю об этом из письма В. Л. Меркулова, который попутно высказал несколько саркастических замечаний о знаменитом священнослужителе, имевшем гипнотическое влияние на двух последних российских самодержцев.

Но если Александр сразу же решил последовать совету отца Иоанна, то Алексею такое решение далось нелегко. Важную роль сыграло поощрение Ивана Петровича Долбни. Он уверил юношу, что Московская духовная академия – это не отгороженная от мира обитель, а нормальное учебное заведение, где можно получить отменное философское, историческое и, конечно, религиозное образование. Из ее стен вышло немало крупных профессоров и общественных деятелей. Так, известный поэт и религиозный философ В. С. Соловьев после университета слушал лекции в Духовной академии. В. Л. Меркулов записал слова Ухтомского:

«Еще будучи в корпусе, я был склонен серьезно изучать теорию познания, психологию, историю и языки. В московской Духовной академии преподавал в те годы знаменитый историк России Василий Осипович Ключевский и другие видные профессора Московского университета. В академии было хорошо поставлено преподавание философии, психологии и древних языков. И вот это-то и определило мое решение поступить учиться в академию вопреки воле моих родителей»⁶⁴.

Можно, однако, не сомневаться, что главной побудительной причиной была все-таки религиозность юноши, но этого Ухтомский Меркулову не сказал, или Меркулов этого не записал, или записал, но из его книги это место было вымарано: передовому советскому ученому полагалось быть безбожником (желательно, воинствующим!).

В Духовной академии Ухтомский, по его собственным словам, смог «вникнуть ближе и конкретнее в идеи чистого христианства и в исторические судьбы этих идей, а о важности такого вникания для современного образованного человека нечего и говорить»⁶⁵.

А. А. Золотарев свидетельствовал, что Ухтомский «считал эти годы, проведенные им у Троицы, счастливейшими и плодотворнейшими для своего духовного возрастания».

По свидетельству того же Золотарева, возвращаясь на каникулы в Рыбинск, Ухтомский все активнее участвует в местной церковной жизни, причем, «начинает отчетливо проводить свою линию по защите дедовщины».

⁶³ В. Меркулов. Ук. соч., стр. 16.

⁶⁴ Там же, стр. 18.

⁶⁵ Письмо Ухтомского к некоему Шелекову. <http://rudocs.exdat.com/docs/index-380470.html?page=9>, См. также: И. Кузьмичев. Ук. соч., стр. 162.

Смысл слова *дедовщина* в те времена не имел ничего общего с нынешним. Оно означало приверженность старине, сложившимся издревле обычаям и традициям.

Вместе с двумя рыбинскими священниками Ухтомский организует церковные службы со старорусским пением и чином богослужения. В домике тети Анны он закладывает основу своей коллекции старопечатных книг и старинных икон. «Собирательство икон идет тем успешнее и счастливее, что глубоко верующий и свято чтущий иконы Ал. Ал. в довершение всех качеств, необходимых собирателю старой иконы, еще и иконописец – сам пишет образа, входя в самые тайники и технические тонкости нашего древнего искусства иконописи», – указывает Золотарев. По его уверению, Ухтомский также издал в Рыбинске «брошюру о старом церковном пении против новшеств, против итальянщины и вычуров столичных и провинциальных «Грибушных» – концертантов». Известны также две статьи А. А. Ухтомского «О церковном пении» более позднего времени. Первая из них была опубликована в газете «Санкт-Петербургские ведомости» в 1910 году.

Учеба в Духовной академии увенчалась успешной защитой кандидатского диплома на тему: «Космологическое доказательство Бытия Божия». Само название дипломной работы говорит о том, сколь грандиозен был замах несостоявшегося богослова.

В Московской духовной академии, как ни странно, начался его непростой и нескорый путь к старообрядчеству. Об этом говорят записи, сделанные им при чтении книги «У троицы в Академии», посвященной ее истории за сто лет. Записи эти скопировал и привел в своих воспоминаниях А. А. Золотарев. Ухтомский пишет о здоровой новой линии, начатой в Академии ее ректором А. В. Горским. Горский умер в 1875 году – в тот год, когда Алексей Ухтомский родился. Но в Духовной Академии он оставил очень глубокий след. Ухтомский учился у его учеников. «А. Лавров, проф. канонического права, преосвященный Алексей, викарий Московск., его ученик Н. Заозерский. Отсюда традиции к воссоединению со старообрядцами. Я ничего от себя. Все от Е. Голубинского, А. Лаврова и Н. Заозерского»⁶⁶.

Как подчеркивал в своих воспоминаниях Золотарев, «и вторую свою – духовную! – школу Ал. Ал. очень высоко ставил и любил свою мать воспитательницу (Alma mater) глубоко сыновней любовью»⁶⁷.

Тем не менее, в Академии он не смог найти ответа на вопросы о *законах бытия*, которые его волновали больше всего.

В том, что Бог существует, что он сотворил мир и человека, наделил его разумом и волей и обязал следовать своим заповедям, – в этом Ухтомского убеждать было ненужно: он это впитал если не с молоком матери, то с воздухом заволжских лесов. Ну а то, что Бог – первопричина всего сущего, он доказал, или ему так казалось, в своей дипломной работе. Но его мучил вопрос – что заставляет человека стремиться к Богу, верить в Божеские заповеди, возносить молитвы, различать добро и зло? Какова природа религиозного опыта, связанного с отказом от многих житейских радостей, а порой и с гонениями (как терпели гонения старообрядцы). Что толкает религиозных людей на подвижничество, аскетизм, что заставляет добровольно терпеть лишения, а то и подвергать себя истязаниям, даже идти за свою веру на смерть, примерами чего полна история религии? И почему разные люди так по-разному понимают религиозный долг, что приводит к столкновениям религий, которыми тоже полна история? У такого, по видимости, *противоестественного* поведения должны быть *естественные* причины, гнездящиеся в самой природе человека, в его психике, определяемой, в свою очередь, физиологическими отправлениями организма, то есть биологически. Впоследствии он запишет в дневнике:

⁶⁶ Цит. по: А. А. Золотарев, Ук. соч., <http://rudocs.exdat.com/docs/index-380470.html?page=14>.

⁶⁷ Там же.

«В Духовной Академии у меня возникла мысль создать *биологическую теорию религиозного опыта*. При этом основой религиозного опыта заранее предполагалась известная физиологическая роль его, т. е. а priori предполагался и затем раскрывался биологически целесообразный момент богопочитания»⁶⁸.

Первоначально он формулировал эту мысль не столь четко, но не менее выразительно:

«Я с детства знаю молитву, люблю ее. Мне хочется оправдать ее другим [перед другими]. Ее отрицают, и когда отрицают, часто ссылаются, как на основание, на науку: будто бы молитва не согласна с самим духом, каким живет наука. Науку нельзя не любить, нельзя не любить начала, какими живет чистая наука, нельзя не любить Гегеля. Мне лично любовь к чистой науке не мешала любить молитву; этого мало, – вдохновение научными началами оправдывало мне настроение, каким я творил молитву. Мне и хочется уяснить это, оправдаю ли я молитву из начал науки, – чтобы оставить отрицание молитвы на счет безумного упорства, каким всегда встречает тьма правду и свет. Реальное же побуждение искать правду у меня не исчезнет, пока буду помнить тетю Анну. На фоне бесконечного Ничто во мне борются великие традиции, данные мне прошлой жизнью человечества. И их я должен примирить»⁶⁹.

4.

Когда старший брат Александр узнал о планах младшего брата после Духовной академии поступить в университет, чтобы изучать естественные науки, он пришел в негодование. Он знал, что университеты – это рассадник безбожия, и заклеил Алексея чуть ли не веротступником. Его собственная жизненная дорога была определена без сомнений и колебаний. Она напрямик вела к Богу, – по крайней мере, он так считал. Окончив Духовную Академию, он постригся в монахи: стал иеромонахом Андреем. Через несколько лет он будет рукоположен в епископы и в этом звании пройдет свой крестный путь до конца.

Старший брат полагал, что младший снова последует его примеру и тоже примет постриг. Или пойдет служить по духовному ведомству. Или, на худой конец, поедет преподавать в какую-нибудь провинциальную семинарию. Но – в университет! На естественное отделение?! Резать лягушек и смотреть, как дергается лапка под воздействием электрического тока или серной кислоты? В этом он видел измену вере и измену России!

Алексей был ужасно раздосадован реакцией старшего брата. Он надеялся на сочувствие или хотя бы на понимание, а наткнулся на грубую попытку обстричь его по своему облику и подобию. Александр не ведал сомнений, был непогрешим в собственных глазах и гордился своей непогрешимостью. Алексею это было чуждо, если не сказать – претило. Через много лет он напишет Е. И. Бронштейн:

«Трогателен, мил и неисчерпаемо поучителен вообще человек, когда он прост и живет перед лицом своей совести, ища лучшего! И везде он противен и жалок, когда самоуверен, самодоволен и горд!..»⁷⁰

А. В. Копериной (Казанской) Алексей Алексеевич говорил, что «в детстве, а потом в Кадетском Корпусе и Духовной Академии брат имел на него очень большое влияние и был авторитетом. Но когда он постригся в монахи, стал отцом Андреем, да вместо смирения вознесся, поставил себя превыше всех и начал проповедовать не только своей пастве, но

⁶⁸ А. А. Ухтомский. Лицо другого человека, стр. 196. Дневниковая запись, 10 мая 1921 г.

⁶⁹ Там же, стр. 100. Дневниковая запись от 15/16 мая 1899 г.

⁷⁰ «Пути в незнаемое», вып. 10, стр. 427. Письмо к Е. И. Бронштейн-Шур от 30 авг. 1928 г.

«поучать» и его, своего брата, вот тут они с ним крупно повздорили, а их дороги разошлись навсегда»⁷¹.

Но все было не так просто. Хотя Алексей не подчинился натиску волевого брата, сомнения в его чувствительную душу запали, а правильное сказать, никогда не покидали ее. Отвергнув попытки брата навязать ему свою волю, он отправился... в монастырь! Несколько месяцев он прожил в старинном Иосифо-Волоцком монастыре под Волоколамском – с его величественными соборами и устремленными ввысь колокольнями, богатейшей библиотекой, росписями, иконами, но только еще больше укрепился в мысли, что монашество не для него. Обстановка располагала к безделью, а в основе всего лежало «глубокое, непоколебимое самомнение, самая твердая и безнадежная уверенность в исключительной привлекательности [такого] времяпрепровождения». «Надо не оставаться, а бежать из такой обстановки, которая лишает энергии наши убеждения», ибо «убеждения, не будучи осуществляемы, атрофируются; обстановка изгаживает наши убеждения»⁷².

Но и впоследствии Ухтомский не раз возвращался к мысли уйти в монастырь. В 1916 году, в одном из писем к В. А. Платоновой, он даже успокаивал ее, что с его уходом в монастырь их духовная связь не прекратится. А в 1922 году, в минуту особой откровенности, он вдруг сказал А. В. Копериной:

«Но ты пойми меня – ведь я монах в миру! А монахом в миру быть ой как трудно! Это не то, что спасать свою душу за монастырскими стенами. Монах в миру не о себе, а о людях думать должен!»⁷³

Некоторые авторы склонны понимать это буквально и даже ссылаются на документ, удостоверяющий, будто А. А. Ухтомский в 1921 году тайно принял монашество – под именем Алипий, а в 1931 году Алипий – тоже тайно – стал епископом Охтинским. Однако неоспоримых данных о том, что мирское имя Алипия – Алексей Ухтомский, по-видимому, нет.

По утверждению В. Л. Меркулова, желая проверить себя в конкретном деле, Алексей Алексеевич, окончив Духовную академию, поехал учительствовать в одну из сельских школ Волоколамского уезда Московской губернии. Об этом коротком периоде своей жизни Ухтомский потом не вспоминал и не рассказывал. Никаких других указаний на этот счет я не нашел, так что сомневаюсь в его достоверности. Уж не пришлось ли Меркулову замаскировать под учительство в школе недолгое пребывание героя его книги в монастыре – в том самом Волоколамском уезде!

В дневниках Ухтомского этого периода не обозначено место, где делались записи. Зато они полны напряженными раздумьями о своем дальнейшем пути, о смысле жизни, без которого сама жизнь становилась не в радость, даже возникла мысль о самоубийстве. Впрочем, это было лишь настроение минуты: он вовсе не ощущал себя заблудившимся в непроходимом лесу.

«Смысл, задача моей жизни (в конкретном смысле) – научная работа, выяснение научного мирозерцания с точки зрения, например, христианства. Возвышенная, спокойная критика, спокойное преследование, спокойный культ истины (в духе И. П. Долбни) – должен наполнить мою душу»⁷⁴.

И в другом месте гораздо определеннее:

«Мы привыкли думать, что физиология – это одна из специальных наук, нужных для врача и не нужных для «выработки мирозерцания». Но это столь же неверно, как и поло-

⁷¹ А. А. Ухтомский в воспоминаниях и письмах, стр. 50–51.

⁷² А. А. Ухтомский. Лицо другого человека, стр. 95. Дневниковая запись, 18 янв. 1899 г.

⁷³ А. А. Ухтомский в воспоминаниях и письмах, стр. 65.

⁷⁴ А. А. Ухтомский. Лицо другого человека, стр. 103. Дневниковая запись, 16 июля 1899 г.

жение, что не дело врача, а дело специально священника или метафизика – вырабатывать миросозерцание. Теперь надо понять, что разделение «души» и «тела» – есть лишь <...> психологический продукт; что дело «души» – выработка миросозерцания – не может обойтись без законов «тела», и что физиологию надлежит положить в руководящие основания при изучении законов жизни (в обширном смысле)»⁷⁵.

5.

Итак, он пришел к заключению, что для выработки миросозерцания, объединяющего душу и тело, ему следует стать физиологом. С этой целью он приехал в Санкт-Петербург, где жил и работал его первый и наиболее ценный Учитель Иван Петрович Долбня. Но возникло осложнение: особый циркуляр запрещал принимать на естественное отделение университета выпускников семинарий и духовных академий. Это препятствие можно было обойти, поступив в Военно-медицинскую академию, где на кафедре физиологии царил Иван Петрович Павлов. Тогда он еще не был всемирно знаменит, но в русской науке уже бесспорно занимал одно из ведущих мест. Однако Ухтомский даже не стал рассматривать такой возможности. В медицинских вузах преподавалась и изучалась физиология, *нужная для врача*, тогда как ему требовалась физиология, *нужная для выработки миросозерцания*.

Осенью 1899 года он поступил на еврейско-арабский разряд восточного факультета и, пользуясь университетской свободой, стал параллельно посещать лекции на естественном отделении физико-математического факультета. Через год он официально перевелся на него, благодаря протекции министра внутренних дел Сипягина, в прошлом однокашника его отца, в доме которого он был принят. (Два года спустя Сипягин будет убит террористом-эсером).

К занятиям Ухтомский относился с редкой серьезностью, отнюдь не ограничиваясь минимумом знаний, необходимым для сдачи экзаменов и зачетов. «Совершенно исключительная дисциплина и усидчивость помогли ему блестяще проходить год за годом, предмет за предметом – все, что требовалось для студента-естественника», – вспоминал А. А. Золотарев, тогда же учившийся в университете. На лекциях они обычно сидели рядом – всегда в первом ряду, Ухтомский все «тщательно записывал в бесчисленные свои записные книжки своим тонким, крупным, почти что печатным почерком»⁷⁶. Не довольствуясь лекциями, он широко пользовался немецкими и французскими руководствами по физике, химии и другим дисциплинам, благо свободно владел основными европейскими языками. (Владел, конечно, и древними: древнеславянским, латынью, древнегреческим, древнееврейским).

Жилье он снял около Смольного института, в квартале, где обитали ремесленники, приказчики и купцы из Рыбинска: ему было важно общение с земляками. Как мы уже знаем, он стал прихожанином Никольской единоверческой церкви. Обладая сильным красивым тенором, он часто вел церковные службы. Пел вдохновенно, доставляя блаженное наслаждение себе и всем, кому доводилось слушать его песнопения.

Его отношения с братом, иеромонахом Андреем сильно охладелись, но полного разрыва не произошло. Иеромонах Андрей в это время тоже был в Петербурге: готовился к миссионерской деятельности. Через него Алексей познакомился с видными деятелями церкви, а через князя Эспера Эсперовича Ухтомского стал вхож в придворные круги. Был знаком и с Гришкой Распутиным, когда тот только появился в столице и еще не был вхож во дворец. Гришка у него несколько раз ночевал и оставил впечатление умного пройдохи со способностями гипнотизера.

⁷⁵ Там же, стр. 93. Дневниковая запись, 30 ноября 1898 г.

⁷⁶ А. А. Золотарев. Ук. соч., <http://rudocs.exdat.com/docs/index-380470.html?page=14>.

Однако, вращаясь в самых разных кругах общества, ни в одном из них Алексей не чувствовал себя своим. К столице он привыкал долго и трудно. Город был для него слишком большим, шумным, холодным, давящим, таким, каким его в свое время воспринимал Достоевский, из чьих книг он выписывал: «...взбалмошное кипение жизни, тупой эгоизм, сталкивающиеся интересы, угрюмый разврат, сокровенные преступления, кромешный ад бессмысленной и ненормальной жизни». «Мрачный угрюмый город с давящей атмосферой, с зараженным воздухом, с драгоценными палатами, всегда запачканными грязью; с тусклым, бледным солнцем и злыми, полусумасшедшими людьми»⁷⁷.

Его сокровенные мысли, сомнения, мечты не встречали понимания, он мог поверять их только бумаге.

«Человек есть по природе существо «зажирающееся», т. е. способное везде осуществлять торжество своего личного, скверного Я. Лучшие условия, в которые он (всегда более или менее «случайно») попадает, не воскрешают, не поднимают его, а лишь дают ему случай еще раз применить, приложить и утвердить свое внутреннее, низкое, ничтожное Я»⁷⁸.

«Душа моя подавлена петербургскою средою, от нее скрылся свет свободного ощущения Истины, силы упали. Потому-то я бегу за церковную ограду, чтобы здесь, за исторически испытанными стенами, остановить затопление моей души»⁷⁹.

Но и за церковной оградой он не всегда находил то, что искал. Он искал единения с *сотаинниками*, а обнаруживал такие же столкновения интересов, такие же интриги, как в любом социуме. Он держался в стороне от интриг и борьбы группировок, но выключить себя из нее оказалось невозможно. Руководство прихода, недовольное настоятелем церкви отцом Симеоном (Шлеевым), опубликовало «Открытое письмо», смахивавшее на донос, причем сделано это было за спиной рядовых прихожан. Алексей Алексеевич вступился за отца Симеона, вернее выступил против попрания принципа «соборности», то есть церковной демократии. Прихожане его поддержали. Они потребовали перевыборов церковного совета, и, неожиданно для себя, Ухтомский был избран старостой. Но когда он стал во главе прихода, у него самого начались трения с отцом Симеоном. Ему претили «поповская гордыня и властолюбие» священнослужителя, стремление «прибрать к рукам остатки драгоценнейшего, именно *общинного* начала в церковном приходе»⁸⁰. В этом он видел повторение в миниатюре того, что исторически происходило в церкви – при царе Алексее Михайловиче и патриархе Никоне. Ухтомский считал, что патриарх Никон затеял церковную реформу из самых лучших побуждений, но методы, какими она насаждалась, задавили «общественную (социальную) сторону приходской жизни». Это, по его мнению, и привело к церковному расколу. Раскольниками он считал Никона и его последователей, а не старообрядцев, кои отказывались признавать насаждавшиеся сверху новшества – вопреки жестоким преследованиям. Такой же авторитаризм, ведущий к расколу, по его мнению, насаждал в Никольской единоверческой церкви отец Симеон. Он был полон энергии, воли и честолюбия, чем напоминал Ухтомскому старшего брата.

Усилиями отца Симеона Шлеева Никольский единоверческий храм стал крупным образовательным центром, а сам отец Симеон, не всегда ладивший со своей паствой, отлично ладил с церковным начальством. Он был возведен в сан протоиерея, архиерея, а в 1920 году был рукоположен в епископы и направлен в Уфу, где сперва возглавил единоверческую епархию, а затем всю православную епархию. Епископ Симон (такое было

⁷⁷ Ухтомский. Лицо другого человека, стр. 152. Дневниковая запись от 1 января 1901 г.

⁷⁸ Там же.

⁷⁹ Там же, стр. 156. Дневниковая запись от 25 июля 1902 г.

⁸⁰ Там же, стр. 373. Письмо В. А. Платоновой от 23 декабря 1914 г.

ему дано новое имя) действовал очень энергично и за короткое время приобрел большую популярность среди верующих. 18 августа 1921 года, возвращаясь домой после службы в Успенском кафедральном соборе, он был убит. Убийцы не были найдены, причины и обстоятельства убийства остались невыясненными. По версии властей, то было обыкновенное уголовное преступление, но среди верующих утвердилось убеждение, что епископа Симона убили чекисты, так как его активная религиозная деятельность мешала властям. В 1999 году епископ Симон (Симеон Шлеев) был причислен к лику святых новомучеников православной церкви.

После переезда епископа Симона в Уфу он не имел практической возможности руководить единоверческими приходами Питера. Фактическое руководство перешло к митрополиту Петроградскому и Гдовскому Вениамину и, как писал ему Ухтомский в «всепокорнейшем заявлении», «мы рады засвидетельствовать здесь, что всегда и неизменно находили у Вас сердечное пастырское участие к нашим нуждам и истинно-отеческое, любовное разрешение наших дел; Вы не оставляли нас с нашими нуждами в переживаемые грозные дни; и под Вашим несением наша внутренняя приходская жизнь, несмотря на все внешние невзгоды, могла наслаждаться глубоким миром и безмятежением»⁸¹.

Заявление было вызвано тем, что епископ Уфимский номинально оставался главой единоверческих приходов Петрограда и дошли слухи, что он стремится возглавить все всероссийское единоверие. Питерские единоверцы этого не хотели. Они подали ходатайство об официальном отстранении епископа Симона от руководства Единоверческими приходами Петроградской Епархии, дабы митрополит Вениамин возглавил их «не только фактически, но и официально».

Заявление подписано «представителем прихода А. Ухтомским», так что нетрудно понять, от кого исходила инициатива этого демарша. За много лет совместной деятельности в Никольской церкви Алексей Алексеевич успел хорошо узнать отца Симеона Шлеева (епископа Симона). Отдавая должное его энергии, Ухтомский не мог мириться с его высокомерием и карьеристскими наклонностями. Для него церковь не могла быть полем честолюбивых устремлений.

Вера была для него постоянным вызовом. Молитвы, которые он возносил ежедневно, не были *вымалыванием* милостей или *замалыванием* грехов. Молитва его была о том, чтобы обрести силы для борьбы с греховными, эгоистическими наклонностями своей натуры, со своей «самостью», как он это называл.

Под его заявлением митрополиту Вениамину нет даты, но судя по содержанию, оно было написано в мае-июне 1921 года. Неожиданная гибель епископа Симона сняла поставленный вопрос с повестки дня. Митрополит Вениамин пережил епископа ненадолго. В июне следующего, 1922 года, он был судим якобы за «сокрытие церковных ценностей», приговорен к смертной казни и расстрелян. Церковь переживала грозные дни.

6.

«Первое, что надо, – это решительно отвергнуться себя. Иначе же ты несешь всю скверну, жесткость и каменное сердце с собою и тогда, когда приступаешь к Престолу Божию, а это делает тебя Иудею, отрезающим самому себе мало-помалу выход из ада»⁸². Так Ухтомский записал в дневнике в мае 1903 года, но такие мысли красной нитью проходят через всю его жизнь. «Я болею этой болезнью самоуверенности и доселе, – писал он В. А. Платоновой 14 лет спустя, – <...> Именно страх перед самоутверждением своим научил

⁸¹ <http://rudocs.exdat.com/docs/index-380470.html?page=15>

⁸² Ухтомский. Лицо другого человека, стр. 157. Дневниковая запись от 11/12 мая 1903 г.

меня молиться! Молитва моя в том, чтобы избавил меня Бог от самоудовлетворения и самоутверждения; ибо я всем существом чувствую, что тут Смерть и Зло для других и для себя»⁸³.

Религиозно-нравственные искания не подавляли общественного темперамента Алексея Ухтомского. В 1901 году он участвовал в студенческой сходке, разогнанной полицией. Его засекали, ему грозило исключение из университета. О случившемся стало известно отцу. Он написал Алексею тревожное письмо, уговаривая остепениться во избежание тяжких последствий. При помощи Д. С. Сипягина и Э. Э. Ухтомского дело удалось замять.

Революционные события 1905 года вызвали у него душевный подъем и жажду деятельности. Позднее он в этом раскаивался, ибо считал, вслед за Львом Толстым, гонения на которого его возмущали, что переустройство общества человек должен начинать с переустройства самого себя. В результатах революции 1905 года он был разочарован: полагал, что политические свободы, вырванные у царя, не внесли ничего позитивного в народную жизнь; выиграла только интеллигенция, но она, по его мнению, погрязла в самодовольстве и взаимных разборках, забыла об интересах народа и в этом отношении мало отличалась от правящего класса.

Когда началась война 1914 года, и все общество было охвачено патриотическим экстазом, Ухтомский, наоборот, почувствовал глубокую тревогу за судьбу России. Он полагал, что даже если война завершится победой, это будет пиррова победа, и недоумевал – как этого не понимают правящие круги. Германия, по его мнению, была последним оплотом абсолютизма в Европе, ее поражение могло только подорвать государственные устои России – зачем же против нее воевать?

«Хорошо это или дурно, опасно или радостно и т. п. – об этом я ничего не хочу говорить. Но мне хочется невольно сказать нашим представителям монархической государственности: *разве вы не чувствуете, что всякий ваш удар по Вильгельму есть удар по вашим фундаментам, по силе, которая поддерживала и ободряла вас?* Ваш удар по германскому абсолютизму действует в руку германской демократическо-революционной стихии, *а эта стихия, воспрянув в Германии, разольется по всей Европе и затопит вас!*»

Он пророчески предсказывал, что «теперешние военные события – это лишь прелюдия огромных событий, назревающих в европейской социальной жизни!»⁸⁴.

Следя за ходом войны, хороня погибших товарищей, беседуя с теми, кто уже побывал в окопах и кто ждал отправки на фронт, он, конечно, желал всей душой победы своей родине. Но сознавал, что «при том нравственном состоянии, в котором обретается русское общество, нет резона для победы, а есть резоны для того, чтобы быть битыми. Мне лично ужасно тяжело за наш *народ*, за тот простой и коренной народ, который сейчас молчаливо отдает своих сыновей на убой; но мне не тяжело за «*общество*», за все эти «*правящие классы*» и «*интеллигенцию*», которым по делам и мука»⁸⁵.

Подобными же мыслями он делился и со своим университетским товарищем Н. Я. Кузнецовым:

«Нашими верхами, очевидно, завладели опять какие-то темные силы немецкого образца⁸⁶, а это открывает, как всегда, широкий простор воровским инстинктам домашних хищников, которых, к сожалению, всегда было много на Руси. Настоящий же, подлинный

⁸³ Там же, стр. 415.

⁸⁴ Там же, стр. 364. Письмо к В. А. Платоновой от 30 июля 1914 г.

⁸⁵ Там же, стр. 396. Письмо к В. А. Платоновой от 1 октября 1915 г.

⁸⁶ Увы, «темные силы», как называли придворную камарилью, которой верховодил Гришка Распутин, были исконными, доморощенного российского образца. «Немецкими» их называли из-за происхождения царицы Александры Федоровны, однако влияние на нее сибирского мужика «отца Григория» было безграничным.

хозяин земли русской, наш коренной народ, только глубоко запрятывается по своим деревням да поохывает, когда у него снова и снова выхватывают сыновей на убой»⁸⁷.

Февральскую революцию Ухтомский воспринял со сложными чувствами – как закономерный акт освобождения народа от векового деспотизма, но, в то же время, и как очередной этап развала страны.

«Великие события произошли на русской земле, события, которых, впрочем, надо было ожидать с первого дня теперешней войны. Могу сказать, что с июля месяца 1914 года я чувствовал с ясностью, что должно совершиться то, что совершилось теперь. Многим я говорил тогда же об этом, но это по большей части вызывало только улыбки. Должно же было совершиться то, что совершилось теперь, потому что вступили мы тогда в войну против Германии и Австрии с очень высокими идеалами – защиты угнетенного народа сербского против угнетателей, в то время как в своей внутренней жизни сами продолжали угнетать свой родной русский народ! <...> В лице Вильгельма и вильгельмовщины вызывает возмущение и осуждение тот самый аристократический немецкий абсолютизм, которым пропитана вся русская государственность и от которого не могло отказаться наше «правлящее общество» в мирном укладе своего существования»⁸⁸.

Когда власть захватили большевики, Ухтомский с полным правом писал, что нечто подобное предвидел и предсказывал.

«Я все время чувствую, что все это предрешено и всему этому воистину «подобает быть» еще с тех пор, как в феврале и марте маленькие люди ликовали по поводу свержения исторической власти; как историческая власть впала в великий соблазн и искушение последних лет; как правящее и интеллигентное общество изменило народу... Одним словом, исходные нити и корни заходят все дальше и дальше, и из этих корней роковой путь к тому ужасу, который переживается теперь и о котором надо сказать, что, переживая его лицом к лицу, мы еще и не отдаем себе полного отчета, до какой степени он ужасен!»⁸⁹.

7.

Большевистский переворот случился в то время, когда в Москве проходили заседания Поместного Собора Православной церкви, в котором участвовали и братья Ухтомские: епископ Андрей – как представитель церковной иерархии, Алексей Алексеевич был избран от мирян-единоверцев.

Для церкви это было поистине историческое событие, ставшее возможным благодаря Февральской революции. Собор был созван впервые с конца XVII века, когда Петр I подмял под себя церковь, ликвидировал патриаршество и прекратил проведение Соборов. В числе важнейших стоял вопрос о восстановлении патриаршества. Однако некоторые участники Собора выступили против этого. Они опасались, что патриарх станет всевластным церковным самодержцем, тогда как требуется, напротив, демократизировать систему церковного управления.

Эти предложения были близки к тому, что давно уже предлагал епископ Андрей и чему сочувствовал Алексей Алексеевич – ведь именно в подавлении церковной демократии (соборности) он видел основную причину раскола и многих других бед народа и церкви.

Собор был открыт 15 августа, но обсуждения шли с большими перерывами и затянулись; пока они продолжались, и произошел большевистский переворот.

⁸⁷ Письма А. А. Ухтомского к Н. Я. Кузнецову до сих пор не опубликованы. В. Л. Меркулов обнаружил их в архивном фонде Н. Я. Кузнецова (ААН, ф. 793). Цит. по: В. Л. Меркулов, Ук. соч., стр. 94.

⁸⁸ Письмо Ф. П. Савостину, апрель 1917 года. <http://rudocs.exdat.com/docs/index-380470.html?page=10>.

⁸⁹ Ухтомский. Лицо другого человека, стр. 422–423. Письмо к В. А. Платоновой, 14 ноября 1917 г.

«Здесь, в Москве, происходят события не менее тяжелые, чем у Вас в Питере, – писал Алексей Алексеевич В. А. Платоновой. – Около Сретенского монастыря, где я живу с братом, находилась телефонная станция. Почти четверо суток трещали у нас под боком пулеметы, винтовки, гремели взрывы бомб, бросавшихся из бомбометов. Справа, слева, сзади от монастыря с построек и домов трещали выстрелы, производившиеся, по-видимому, провокаторами. У меня сложилось такое впечатление, что стрельба из домов вообще производилась около церквей и монастырей, как будто тут сказывалась чья-то цель – направить толпу на погром церквей и монастырей. Однако большевики-солдаты все-таки разбирались, откуда происходит пальба, и начинали стрелять по соответствующим домам»⁹⁰.

«События» заставили участников Собора свернуть прения. 28 октября, заключая их, Астраханский епископ Митрофан сказал: «Дело восстановления патриаршества нельзя откладывать: Россия горит, всё гибнет. И разве можно теперь долго рассуждать, что нам нужно орудие для собирания, для объединения Руси? Когда идёт война, нужен единый вождь, без которого воинство идёт вразброд»⁹¹.

Собор принял решение патриаршество восстановить. Приступили к выборам патриарха. Было избрано три кандидата: митрополиты Антоний Харьковский, Арсений Новгородский и Тихон Московский. Затем, как ни странно, вопрос решался жребием, который выпал на Тихона. Ухтомский считал этот выбор наиболее удачным: из трех кандидатов Тихон представлялся ему самым кротким и наименее авторитарным. Однако в целом работой Собора Алексей Алексеевич остался недоволен. Он саркастично писал В. А. Платоновой:

«Кажется, я не преувеличу, если скажу, что предрержащая церковная власть оказалась косноязыческой и почти утратившею внятную речь; единственное внятное слово, которое ей удалось, – да и то с перепугу от большевистских пушек, – это «па-па-патриарх». Это оказалась тайная мысль, лелеявшаяся владыками еще в царские времена. Под влиянием испуга таившееся слово и соскочило с языка!.. Но потом речь пошла опять невнятной, и вряд ли будут у нас какие-то крупные «исторические» результаты!»⁹².

И дальше, уже без всякого сарказма он излагал *свое* понимание задач Собора:

«Самое главное, на мой взгляд, что должен был сделать Собор, – это восстановление и утверждение народно-соборного начала в церкви, – того самого, которое дает силы старообрядческим общинам и которое было обругано и изгнано господствующей церковью при Никоне»⁹³.

Он считал, что церковная жизнь должна подвергнуться изменениям «без реформации», а для этого церковная иерархия должна признать свои недостатки и нравственно преобразиться, иначе может произойти новый раскол:

«У нас на Соборе иерархия тоже старается объединиться и забронироваться, не желая признавать, что в прошлых и настоящих бедах церкви виновата в значительной мере она; она желает думать, что вся вина в исторических условиях, например, в отсутствии патриаршества, в насилиии со стороны государства, в пороках паствы и т. д., в чем угодно, только не в недостатках самой иерархии!»⁹⁴.

⁹⁰ Там же, стр. 422, Письмо от 14 ноября 1917 г.

⁹¹ Цит. по: Священный Соборъ Православной Россійской Церкви. Д#янiя. – Изданiе Соборнаго Сов#та, Пг., 1918, Кн. III, стр. 6.

⁹² Лицо другого человека, стр. 422. Письмо В. А. Платоновой от 14 ноября 1917 г.

⁹³ Там же, стр. 422–423.

⁹⁴ Там же, стр. 424. Письмо В. А. Платоновой от 24 ноября 1917 г.

Глава седьмая. «Грешный епископ Андрей»

1.

Хотя во время Собора братья жили вместе, но виделись они редко, а разговаривали еще реже: у каждого было невпроворот своих дел, встреч и забот. Но Алексей Алексеевич видел, что брат «очень падает духом и чрезвычайно скорбит по поводу событий. Мне кажется, что я бодрее смотрю на вещи. Храни его Бог! Мне его очень жаль»⁹⁵.

К тому времени иеромонах – архиерей – архимандрит – епископ Андрей прошел непростой путь побед, поражений, удач и разочарований.

Направленный в Казань, он стал энергично создавать религиозные школы и церковные приходы для обращаемых в православие татар-мусульман. Обучение и богослужение в этих заведениях велось на татарском языке – такова была принципиальная установка отца Андрея: подопечные не должны воспринимать перемену религии как насильственное обрушение, тогда они охотнее соглашаются на такой шаг. Суть своей системы он сформулировал в одной из статей в газете «Московские Ведомости»: «Безукоризненный пастырь и безукоризненное богослужение в инородческом приходе на соответствующем инородческом языке»⁹⁶.

Яркий оратор и публицист, человек кипучей энергии, *безукоризненный пастырь*, чей аскетический образ жизни мог служить примером религиозного подвижничества, отец Андрей приобрел в Казани большую популярность.

В городе существовало общество трезвости, в которое отец Андрей сразу же вступил и вскоре стал в нем играть видную роль. В турбулентном 1905 году на базе этого общества было создано казанское отделение «Русского собрания» – черносотенной монархической организации. Отец Андрей стал в ней заметной фигурой.

«Особые ожидания о. Андрей возлагал на право-монархические организации, как ставящие «во главу своей политической программы *служение святой Церкви*», полагая, что «пастырю Церкви можно говорить с ними на одном языке, и есть надежда быть понятым», – указывает его биограф И. Алексеев. – Вместе с тем, он считал, что «уже на второй строчке своей программы «Русское Собрание» делает ошибку, требуя для православия какого-то для него обидного и ему по природе чуждого «господства», категорически возражал против «грешного» девиза «Россия для русских!», предлагая заменить его на девиз «Святая Русь на службе миру!», а также критиковал черносотенцев за «неподвижность» и «грубые тактические ошибки»⁹⁷.

Сложилась парадоксальная ситуация. В разношерстной черносотенной стае отец Андрей был белой вороной, притом громко каркающей. Тем не менее, его связь с черносотенством с годами не ослабевала, а влияние росло. Немного было в этой стае таких энергичных, высокообразованных и одаренных «ворон»! Принимая желаемое за действительное, епископ Андрей полагал, что на стороне черносотенцев «сила нравственного закона». Он считал, что только такая сила может остановить победное шествие социализма, который, по его мнению, был «тем и силён, – особенно у нас в России, – что он имеет на себе всю личину истинно-нравственных организаций. Он велик своею показною стороною; и русский человек, всей душой стремящийся к живой вере, оказывается теперь рад уже хотя бы живым

⁹⁵ Там же, стр. 423. Письмо от 14 ноября.

⁹⁶ Цит. по: Игорь Алексеев. Смиранный бунтарь. http://www.ruskline.ru/analitika/2006/08/12/smirennij_buntar/

⁹⁷ Там же.

делам [социалистов] и уже почти отвернулся от мёртвой веры наших официальных покровителей «господствующей» церкви»⁹⁸.

Но если социалистические группировки имели «личину истинно-нравственных организаций», то у расхристанной черносотенной братии не было и этого. Суть ее деятельности сводилась к нападкам и нападениям на инородцев, в особенности на евреев. Ни нравственности, ни видимости ее у них не было. Почему отец Андрей этого не замечал, пусть разбираются его биографы. Для нас важно подчеркнуть, насколько далек от этих иллюзий был родной брат отца Андрея, однажды записавший в дневник с видимым отвращением:

«Вот «шайка Дубровина» заказывает молебен у мощей князя Александра Невского. Им служат длинноволосые люди, в мягкие ризы одетые. Вот, думают, тот испытанный, тонкий обман, который спасает, перед которым не устоит светлый разум страдающего народа»⁹⁹.

Шайка Дубровина – это ведущая черносотенная организация Союз Русского Народа.

Панацею от социалистической заразы отец Андрей видел в усилении роли низовых ячеек церкви – приходов, дабы они стали ядром религиозной и политической активности народных масс. В печати он конкретизировал свои идеи: приходы нужно наделить правом юридических лиц, правом избирать священнослужителей; выборы в Государственную Думу проводить по приходам. Этим он надеялся повысить политическую активность сторонников самодержавия, которому, в свою очередь, надлежало преобразиться на основе «единения царя и народа» – по завету славянофилов, последователем коих отец Андрей себя считал. Но власть не хотела преобразовываться, а активности народа – боялась больше всего.

Темпераментные, полные страсти выступления епископа Андрея в печати и с церковной кафедры приносили ему все большую популярность, но в верхах они вызывали нарастающее раздражение. В один прекрасный июльский день 1911 года отец Андрей прочитал в газетах, что по докладу Святейшего Синода, утвержденному императором Николаем II, он переводится из Казани в Сухум. Заранее его даже не сочли нужным уведомить!

В большой казанской епархии отец Андрей был третьим викарием, а сухумскую епархию ему предстояло возглавить, так что формально это было повышение. Но фактически – почетная ссылка. Отец Андрей так и воспринял этот данайский дар. Популярность его в Казани была такова, что провожать его на пристань пришли тысячи людей. Многие плакали. По его лицу тоже струились слезы...

2.

На Кавказе епископ Андрей тотчас развернул бурную деятельность по обращению абхазов-мусульман в православие, но через два с половиной года его переводят в Уфу, где он снова приступает к активной миссионерской работе среди инородцев. Он был уверен, что чем больше инородцев обратит в православную веру, тем лучшую службу сослужит Богу и России. О том, что к Богу ведут разные пути, он, по-видимому, не задумывался. Если Алексей Алексеевич мучительно *искал* Истину, то епископ Андрей усвоил ее твердо и навсегда.

Различия между братьями с годами проступали все более рельефно. Если Алексей воспринял Первую мировую войну как начало конца Российской империи, то епископ Андрей встретил войну с «нескрываемым воодушевлением» – как ее (традиционной России) возрождение. В победе русских войск он не сомневался и наделял их великой миссией освобождения и объединения славянских народов, в соответствии с чаяниями славянофилов.

⁹⁸ Там же.

⁹⁹ Из Записной книжки А. А. Ухтомского 1910 г., запись под заголовком «Из мотивов 1910 г.» Цит. по: В. Л. Меркулов. Ук. соч., стр. 78.

«В своей брошюре «Исполнение славянофильских предсказаний», изданной в 1914 г. в Уфе, – сообщает И. Алексеев, – епископ Андрей торжествовал: «Сбывается пророчество славянофилов: ‘Орлы Славянские взлетают’... Начинается новая страница всемирной истории; полное освобождение славян, эпоха их самостоятельного политического бытия, полное нравственное торжество России в международной политике... Остаётся теперь пожелать и ждать на Руси торжества церковных начал, отрезвления русского народа, свободного голоса Церкви в церковных делах и прекращения партийной брани»»¹⁰⁰.

И. Алексеев кратко констатирует: «Надеждам этим, как известно, сбыться было не суждено».

И не только потому, заметим, что Россия вышла из войны не победительницей, а побежденной, но и по более глубоким причинам. Не нашлось у нее нравственных сил «для отрезвления русского народа», «для прекращения партийной брани». Что же касается свободного голоса Церкви, то он, к разочарованию Владыки Андрея, мало кого интересовал. Согласно данным историка Дмитрия Пospelовского, как только Временное правительство отменило в армии обязательное исполнение церковных обрядов, число солдат и офицеров, соблюдавших таинство причастия, сократилось более чем в десять (!) раз. В мемуарах генерала А. И. Деникина есть такой эпизод:

«Первые недели [Февральской] революции. Демагог-поручик решил, что его рота размещена скверно, а храм – это предрассудок. Поставил самовольно роту в храме, а в алтаре вырыл ровик для... Я не удивляюсь, что в полку нашёлся негодяй-офицер, что начальство было терроризовано и молчало. Но почему две-три тысячи русских православных людей, воспитанных в мистических формах культа, равнодушно отнеслись к такому осквернению и поруганию святыни?»¹⁰¹.

Того, что вызывало недоумение у генерала Деникина, Владыка Андрей не хотел замечать, хотя он сам предостерегал церковное руководство, что статус государственной религии отталкивает народ от православия.

Февральский переворот отец Андрей, в отличие от брата, воспринял с восторгом. Он заявил, что катастрофа, постигшая царский режим, произошла по вине самого режима, отгородившегося от церкви и от народа.

«Режим этот был в последнее время беспринципный, грешный, безнравственный. Самодержавие русских царей выродилось сначала в самовластие, а потом в явное своевластие, превосходившее все вероятия. Против этого восстали в своё время те прекрасные, чистейшие в нравственном отношении философы-христиане, которые известны под именем славянофилов. Они напоминали русским царям, что их самодержавие есть либеральнейшая власть, не мыслимая без гарантии личности, без свободы вероисповедания и свободы слова. Но замкнутые самомнением уши остались глухи для слушания хороших слов. Всё оставалось по старому, и вместо того, чтобы заботиться о совести (православии), заботились только о грубой силе (самодержавии)»¹⁰².

Отец Андрей заявил о полной поддержке Временного правительства и призвал к тому же православную паству.

«Я знаю, что совесть многих смущена, что многие души ждут ясных указаний того, в праве ли они отречься от прежнего строя. Не изменят ли они «присяге», признав новое правительство Государственной Думы. <...> Отречение от престола императора Николая II

¹⁰⁰ Цит. по: Игорь Алексеев. Ук. соч., http://www.rusline.ru/analitika/2006/08/12/smirenyj_buntar/.

¹⁰¹ А. И. Деникин. Очерки русской смуты. Том первый. Крушение власти и армии. Февраль – сентябрь 1917 г., Париж, 1921, стр. 6.

¹⁰² Цит. по: И. Алексеев. Ук. соч. http://www.rusline.ru/analitika/2006/08/12/smirenyj_buntar/.

освобождает его бывших подданных от присяги ему». А в другой статье – как припечатал: «Рухнула власть, отвернувшаяся от Церкви, свершился суд Божий»¹⁰³.

Горячие выступления епископа Уфимского в поддержку революционной власти были тотчас замечены в Петрограде. На его принадлежность к черной сотне закрыли глаза. В апреле 1917 года епископ Андрей был включен в состав «революционного» Святейшего Синода во главе с обер-прокурором В. Н. Львовым. Ему предлагали пост Петроградского митрополита, но он отказался, заявив, что церковное руководство должно избираться прихожанами, а не назначаться. Его упования сосредоточились на созыве Поместного Собора.

Но в судьбе страны и русской православной церкви Собор уже ничего не мог изменить. В после-февральской России все шло вразнос. Грозно нарастали анархия, бесчинства, разгул насилия. Временное правительство, сформированное князем Г. Е. Львовым, оказалось несостоятельным, но и сменившее его правительство А. Ф. Керенского не могло удержать вожжи в руках. Видя, что дело идет к новой катастрофе, Владыка Андрей обратился к министру-председателю с открытым письмом, в котором вопрошал:

«А что делается сейчас в России? Во что обратилось наше отечество? Ведь это же ужасно! – но это факт: наша родина – это арена для всяких преступлений и насилий... Грабят церкви, грабят монастыри, грабят богатых, грабят даже бедных, если у них имеется лишняя корова или лишняя коса... А потом прибавляют: «Благодари ещё Бога, что эта коса не прошла по твоей голове», а потом с награбленными косой, плугом, сапогами идут, не стесняясь и никого не стыдясь рядом в свою деревню – до следующего грабежа. Это ли не расцвет русского социализма? Это ли не торжество демократии? Такой социализм дикарей скоро может выродиться в коммуны, от которой до людоедства останется только один шаг... Ещё немного и всё оружие, находящееся в руках нашего «Христоролюбивого» воинства, обратится только на самоистребление, когда «постановят» сначала истребить буржуев первой степени, а потом будут грабить тех буржуев, у которых только имеются лишние сапоги...»¹⁰⁴.

Все было верно в этих словах, но предложенный им выход из кризиса был совершенно утопическим, если не сказать смехотворным. Отец Андрей предлагал Керенскому переформировать правительство (даже перечислял «прекрасные имена» тех, кто должен в него войти) и всем составом... явиться в Успенский собор на молитву по случаю открытия Поместного Собора.

Октябрьский переворот, случившийся в разгар работы Собора, отец Андрей воспринял как катастрофу не только режима, но народа и церкви, – отсюда тяжелое душевное состояние, о котором упоминал его брат.

Однако, в отличие от брата, он «не мог молчать». Не задумываясь, обозвал захват власти большевиками «немецко-еврейским заговором». Правда, через два месяца большевики превратились у него в «заблуждающихся русских людей, которые еще могут исправиться»¹⁰⁵. Но когда он убедился, что новая власть не спешит исправляться, она у него вновь превратилась в «бронштейнов, хамкесов и нехамкисов», коих немцы «напустили на Россию» вместе с «симбирским помещиком Лениным»¹⁰⁶.

У Алексея Ухтомского не было иллюзий относительно возможного *исправления* пламенных головорезов, и он не пытался объяснить их успех внешними по отношению к самой России причинами: ни происками немцев, ни заговором евреев, масонов или каких-то еще *тайных сил*. По словам А. В. Казанской (Копериной), «Алексей Алексеевич ненавидел анти-

¹⁰³ Там же.

¹⁰⁴ Епископ Уфимский Андрей. Открытое письмо министру-предс. А. Ф. Керенскому. <http://www.katakomb.ru/7/Kerenski.html>

¹⁰⁵ Цит. по: И. Алексеев. Ук. соч.

¹⁰⁶ Цит. по: А. Нежный. Князь Ухтомский, епископ Андрей. http://krotov.info/history/i9/1890_10_2/1872_andr_uhtomski.htm.

семитизм и говорил, что антисемитизм особенно отвратителен у людей, причисляющих себя к интеллигенции, так как они ничем не могут его объяснить и оправдать. Простые люди часто ссылаются на то, что «евреи Христа распяли», забывая о том, что Христос сам был еврей. А воспевая деву Марию, призывая ее как свою заступницу, они не думают о том, что она была еврейка»¹⁰⁷.

А вот и прямое свидетельство Ухтомского – из его письма к Иде Каплан от 21 августа 1923 года:

«Александрия шлет Вам свой сердечный привет, – такой теплый, насколько только она может в своем холоде и сумраке. Милая Вера Федоровна (Григорьева) Вас часто вспоминает и любит. Она, бедная, очень нервничает и невыносимо ненавистничает против евреев, впрочем постоянно оговариваясь: «кроме Иды». Я ее убеждаю, что подобное «исключение» для Вас только оскорбительно, и прошу, чтобы она хоть «в память Иды» выбросила свое ненавистничество к людям, безобразящее душу. Мои убеждения иногда как будто начинают действовать; но потом, расстроившись, бедняга начинает все сначала!»¹⁰⁸

Очень многое разделяло братьев, хотя родственные чувства давали о себе знать, особенно в тяжелые минуты. Однажды, еще в феврале 1916 года, отец Андрей заявился в Питер сильно простуженный, с повышенной температурой и тяжелым кашлем, что заставило заподозрить у него чахотку. Встревоженный Алексей Алексеевич написал в связи с этим В. А. Платоновой: «Мы жили с ним далеко друг от друга в мире, но было бы очень тяжело мне, если бы он ушел и его больше не было, – еще чужее стало бы в мире»¹⁰⁹.

Опасения оказались неоправданными: отец Андрей выздоровел. Но события захлестнувшие страну, заставляли забыть о невзгодах брата, да и о своих собственных.

¹⁰⁷ Цит. по: А. А. Ухтомский в воспоминаниях и письмах. Составитель Ф. П. Некрылов, Спб., изд-во Спб. университета, 1992, стр. 61.

¹⁰⁸ А. Ухтомский. Лицо другого человека, стр. 526. Письмо к И. И. Каплан от 21 августа 1923 г.

¹⁰⁹ Там же, стр. 404. Письмо к Платоновой от 8 февраля 1916 г.

Глава восьмая. Большевики

1.

Гонения на религию, начавшиеся сразу же после большевистского переворота, вызвали удивление у наивной В. А. Платоновой: она не могла понять, почему власть, объявившая себя народной, действует против традиционных народных верований. Алексей Алексеевич ей отвечал:

«Вы как будто считаете непоследовательным у наших большевиков, что они едва не прекращают богослужение в храмах, что киевские иноки дрожат, ожидая наложения большевистских рук на святыни и т. п., вообще, что нет и помину о пресловутой «веротерпимости». В данном случае Вы, очевидно, не отдаете себе отчета в том, что такое большевики! Они именно вполне последовательны, уничтожая христианское богослужение; логическая последовательность приведет их к прямым, принципиальным и, стало быть, жесточайшим гонениям на христианство и христиан! Вы это имейте в виду, дабы представлять себе вещи, как они есть в действительности!»¹¹⁰

Как всегда основательный, не бросающий слов на ветер, Алексей Алексеевич подтверждает свое невеселое заключение двумя выписками: одну – из «мягкого социалиста-философа» Жана Жореса, клеймившего католическую церковь как «защитницу буржуазной собственности» и «врага пролетариата»; и вторую – из большевистского наркома просвещения А. В. Луначарского о том, что «жрец» (то есть служитель любой религии) – «это неумолимый и серьезный враг пролетариата, а, следовательно, всего человечества враг, не имеющий для себя даже оправдания буржуя, капиталиста, все еще необходимого для социализма, как силы, подготавливающей ему почву. Историческая роль жреца давно уже целиком вредна».

На счет ближайшего будущего Алексей Алексеевич нисколько не обольщался:

«Дело должно идти не о притеснении, не о гонении в собственном смысле, а о принципиальном *истреблении* того, что объявлено «врагом пролетариата, а, следовательно, врагом человечества»¹¹¹.

2.

Первая сессия Поместного Собора, увенчанная избранием патриарха, завершилась 9 декабря 1917 г. Встречать Рождество Ухтомский уехал в Рыбинск. Навестил всех добрых знакомых, в числе других семейство А. А. Золотарева, который вспоминал, как, войдя в квартиру, Алексей Алексеевич «сначала по чину староверия помолился истово иконам, затем так же истово, но и радушно, и сердечно, и радостно поздоровался с отцом, благословился у него, потом с матерью тоже расцеловались, а затем поздравил и меня с Рождеством Христовым. И тут же невступно и так же радостно объявил, что он знает теперь – большевики сели надолго, это самая наша национальная власть, это мы сами, достоинства наши и недостатки наши же великороссийские, самая что ни на есть наша народная власть»¹¹².

В достоверности этого свидетельства не приходится сомневаться, но с одной поправкой – касательно слова «радостно». Чему Алексей Алексеевич никак не мог радоваться,

¹¹⁰ Там же, стр. 429. Письмо от 10 января 1918 г.

¹¹¹ Там же, стр. 430.

¹¹² А. А. Золотарев. Воспоминания об А. А. Ухтомском. <http://rudocs.exdat.com/docs/index-380470.html?page=14>. В сильно урезанном виде помещены также в сб.: А. А. Ухтомский в воспоминаниях и письмах, стр. 42.

так это засевшей надолго национальной власти, олицетворяемой большевиками. Месяцем раньше, еще из Москвы, он писал В. А. Платоновой:

«Вы уже знаете, как пострадал Кремль, Успенский Собор, Чудов монастырь, Патриаршая ризница с библиотекой, Никольские, Спасские ворота и проч. <...> Своими собственными руками разрушает прегрешивший Израиль свой храм и свою святыню, где бы он мог вознести молитву Богу в час кары! А дальше видится приближение Вавилонского пленения для безумного народа, ослепленного ложными пророками и преступными учителями, приводящими к историческому позору! Удивительна аналогия того, что сейчас совершается с русским народом, и того, что было с древним Израилем во времена пророков и Вавилонского плена!»¹¹³

Отношение Ухтомского к народу претерпело значительную эволюцию. Он стал различать две ипостаси народа: народ-толпа и народ-хранитель древних преданий, легенд и сказаний, в которых выражались народные чаяния, стремления к добру и праведной жизни. Народ-хранитель оставался для Ухтомского недостижимым идеалом, воплощением божественного, образцом для подражания, в нем он видел опору для противостояния собственным слабостям, в особенности себялюбию. А народ-толпа был одержим завистью, злобой, был готов последовать за любым вожаком, умеющим разбудить в нем звериные инстинкты. Большевики делали ставку на народ-толпу. *Этим держалась их национальная власть, поэтому становилась непобедимой, все выше поднимая волну беспощадного разрушения «старого мира».* Такова была горькая правда жизни. «Нет достаточных нравственных сил в народе, которые дали бы основу для здоровых новообразований», с горечью констатировал Алексей Алексеевич¹¹⁴.

Продолжая неотступно размышлять о народе, Ухтомский приходил к все более мрачным выводам. Спустя пять лет он записал в дневнике:

«Угрюмая тупость – одна из черт русского народа, предоставленного самому себе. Это проявилось много раз в истории. Между самыми светлыми вспышками отдельных людей, увлекающих иногда за собою целые направления русской жизни, вплеталось это настроение массы»¹¹⁵.

При этом он никак не отделял себя от народа, что видно, например из того, как он сочувственно писал о художнике Рябушкине:

«Внутреннее требование, которым жил Рябушкин: изгнать раз и навсегда, как проказу и чуму, смотрение на народ и его исторический быт «сверху вниз», – как к чему-то низкому, к чему в лучшем случае можно «снисходить», но уж никак не «учиться» у него так называемому «образованному» субъекту. В отношении Рябушкина к *реальному* народу есть место *улыбке* и очень большому *огорчению*, но совершенно нет места анекдоту или подлому снисхождению, – это потому, что главенствует серьезное и органическое *уважение*, и еще потому, что он в своих картинах говорит к народу: «Ты мой отец и брат», но не пытается говорить «о народе» в третьем лице для какого-то своего, постороннего для народа, круга»¹¹⁶.

Не берусь судить, в какой мере сказанное справедливо в отношении художника Рябушкина, но оно безусловно справедливо в отношении Ухтомского. Народ вызывал у него то улыбку, то огорчение, то глубокую душевную боль, но никогда не вызвал снисхождения. Это был *его* народ, о нем он никогда не говорил в третьем лице.

¹¹³ А. А. Ухтомский. Лицо другого человека, стр. 422. Письмо к В. А. Платоновой от 14 ноября 1917 г.

¹¹⁴ Там же, стр. 456. Письмо к В. А. Платоновой от 7 декабря 1918 г.

¹¹⁵ Там же, стр. 221. Дневниковая запись, 22–23 сентября 1923 г.

¹¹⁶ Там же, стр. 630. Письмо к Фаине Гинзбург от 9 марта 1931 г.

3.

Вскоре после рождественских праздников Ухтомский тяжело заболел, выздоравливал долго, с трудом, а потом не мог выехать из-за развала транспорта и застрял в Рыбинске до поздней осени. Из-за этого стал свидетелем кровавой драмы, разыгравшейся в начале июля, когда вспыхнул и тотчас был подавлен военный мятеж Бориса Савинкова – бывшего эсера-боевика, главы подпольной организации «Союз защиты родины и свободы». По плану восстание должно было начаться одновременно в Ярославле, Рыбинске и Муроме, но главную ставку Савинков делал на Рыбинск, где концентрировалась артиллерия и были склады боеприпасов. Савинков планировал захватить этот арсенал и перебросить его в Ярославль – на подмогу тамошнему восстанию.

Мятеж в Рыбинске был поднят в ночь на 8 июля и в ту же ночь был подавлен. Началась вакханалия расправ с правыми и виноватыми. Из-за «разногласий» между руководством местной ЧК и командованием красноармейского гарнизона были расстреляны и некоторые ведущие чекисты.

Добравшись до Петрограда осенью 1918 года, Алексей Алексеевич попал в вымирающий город. Перенеся столицу в Москву, большевики оставили «колыбель революции» на произвол судьбы и распоясавшихся чекистов. Академик И. П. Павлов обратился к властям за разрешением отбыть за границу в виду невозможности продолжать научную деятельность на родине. Большевистские главари стремились избавиться от всех недовольных «пролетарской» властью; тех, кого, по той или иной причине неудобно было расстрелять или засадить в тюрьму, насильственно выслали из страны. Поначалу они предлагали уехать и Павлову, но затем Ильич посчитал невыгодным отпускать такую «культурную ценность». Он распорядился создать лично для Павлова особо благоприятные условия жизни и работы. Об этом ученому сообщил управляющий делами совнаркома В. Д. Бонч-Бруевич. Согласиться на привилегию *для себя* при тех ужасах, что творились вокруг, Павлов считал аморальным. В ответном письме он писал:

«Вот обстановка, вот атмосфера, в которой я живу теперь. Возьмем район дома, где имею квартиру, дома Академии Наук. В этом доме в течение года умерли два товарища-академика, еще далеко не старые люди, от болезней, приведших к смерти, несомненно, на почве истощения. А вот что сейчас в этом доме. <...> Жена академика У., 2–3 месяца назад, чрезвычайно исхудавшая, в страхе обращается ко мне, как все же доктору, хоть и теоретическому, с жалобой, что у нее неожиданно появилась опухоль и быстро выросла. Из расспросов догадываюсь, что это должно быть грыжа. Переговариваюсь по телефону с товарищем по Медицинской Академии, хирургом. Тот говорит, что это теперь обычная вещь при крайнем истощении и что всего лучше оперироваться. Жена академика Л. (пролежавшего в больнице прошлый год с отеками вследствие плохого питания и слабости сердца, ранее здорового) приходит, месяц тому назад, с просьбой рекомендовать глазного доктора: в затемненных местах днем и в сумерках ничего не видит. Переговариваю об этом в лаборатории с докторами и слышу от них, что это теперь распространенная болезнь, куриная слепота, обычная во время народных голодовок. Жена академика М., имевшая ранее припадки падучей болезни один-два раза в год, теперь, страшно исхудавшая, жалуется на повторение припадков почти каждые две недели, а сам академик, тоже сильно истощенный и постоянно падающий в весе дальше, только что болел воспалением легких, и доктор, его пользовавший, высказал опасения за начинающийся туберкулез. У академика К., вдового, дочь, исполняющая роль хозяйки, и у академика С. жена – обе заболели цингой. А вот жизненные впечатления из более широкого района Петроградского, но только из круга моих близких друзей. Земляк и друг с детства Т. с женой и двумя дочерьми, одной вдовой художника с сыном и другой с мужем и

дочерью, нанимают соответственно большую квартиру. Пока замужняя дочь с ее дочерью еще не перебралась из провинции (приехал только муж), в квартиру насильственно вселяется пара жильцов, мужчина и его сожительница, невежественные люди, причем женщина увлекается постоянно подслушиванием и не чиста на руку, так что приходится быть всегда настороже. Кроме того, в той же семье Т. зять-профессор два раза в течение года, ушедший раз покупать газету, а в другой [раз] относивший книгу знакомому, неожиданно пропал без вести. Потом, после долгих розысков, оказывалось, что он был арестован засадами, сидел арестованный по несколько недель и потом был выпущен без предъявления какого-либо обвинения. В конце концов, после таких испытаний и плохо питаюсь, он нажил болезнь в пищеварительном канале. Пришлось в больнице оперироваться. Талантливый живописец В., исключительно своею художнической работой собравший некоторый капитал и приобретший некоторые ценные вещи, хранившиеся в банке, был лишен того и другого. Удрученный потерей, потерявший энергию, плохо питаюсь с женой и сыном в счет текущей работы, при чрезвычайно низкой температуре и сырости в квартире зимой, он заболел скоротечной чахоткой, для которой не было задатков ни в семье, ни в нем самом ранее, и месяц тому назад я его похоронил. У доктора – теоретического профессора К. сын, очень способный, музыкант, перенесший длинный германский плен, вернувшийся на родину и принужденный сейчас же нести непосильную работу, тоже заболел (при низкой температуре в квартире зимой) скоротечной чахоткой и умер. Еще вчера, придя на панихиду, я говорю с плачущей матерью и слышу ее следующие слова: «Это я виновата в его смерти. Бывало ночью придет пешком с Балтийского вокзала (это 7–8 верст расстояния), усталый, голодный, просит черного хлеба – а мне дать нечего; или заставишь его таскать дрова в квартиру (6-й этаж) со двора, после опять просит хлеба – и опять не дашь». А сама говорящая, кожа да кости <...> пролежала несколько месяцев зимой с процессом в груди и только несколько оправившаяся должна была ходить за тяжело умиравшим сыном. И это, как я сказал, только в моем петроградском кругу близких друзей. А дальше, в том же Петрограде, у хороших знакомых, всяких товарищей, просто известных людей. А по провинции – у родных, товарищей, друзей все то же и то же безысходное все нагромождающееся горе. Если я в написанном прибавил хоть одно слово лишнее против действительности, я признаю Вас вправе считать меня недобросовестным, способным ко лжи человеком. Теперь скажите сами, можно ли при таких обстоятельствах, не теряя уважения к себе, без попреков себе, согласиться, пользуясь случайными условиями, на получение только себе жизни, «обеспеченной во всем, что только ни пожелаю, так, чтобы не чувствовать в моей жизни никаких недостатков» (выражение из Вашего письма). Пусть я был бы свободен от ночных обысков (таких было у меня три за это время), пусть бы мне не угрожали арестом производившие обыск, пусть я был бы спокоен в отношении насильственного вселения в квартиру и т. д., и т. д., но перед моими глазами, перед моим сознанием стояла бы жизнь со всем этим моих близких. И как я мог бы при этом спокойно заниматься моим научным делом»¹¹⁷.

Обстановка жизни профессоров университета была, конечно, не лучше, чем академика Павлова. Как свидетельствовал высланный в 1922 году социолог Питирим Сорокин, по карточкам выдавали «от восьмушки до половины фунта очень плохого хлеба на день, иногда и того меньше»¹¹⁸. Коммунисты организовали в университете столовую, но «обед» состоял из тарелки горячей воды, с плавающим в ней листом капусты. Н. Е. Введенский подсчитал: число получаемых с таким обедом калорий меньше, чем тратилось на хождение в столовую.

¹¹⁷ Письмо было обнаружено мною в 1980 г. в рукописном фонде Библиотеки имени Ленина (ф. 369, кор. № 314, ед. хр. 10, лл. 1–5 с оборотом). Опубликовано в книге: С. Резник. Непредсказуемое прошлое, Спб., «Алетейя», 2010, стр. 154–157.

¹¹⁸ Цит. по: Кузьмичев, Ук. соч., стр. 104.

От такого питания «у многих начинались провалы в памяти, развивались голодный психоз и бред, затем наступала смерть», писал Пителир Сорокин. Некоторые профессора кончали жизнь самоубийством, других уносил тиф, иных, особенно пожилых, доканывала «трудовая повинность». По понятиям рабоче-крестьянской власти, научная и преподавательская деятельность профессоров считалась «не трудовой». Их заставляли пилить дрова, разгружать баржи, скалывать лед. П. Сорокин подсчитал, что смертность среди профессоров университета возросла в шесть раз по сравнению с дореволюционным временем.

Контора, в которой служила В. А. Платонова, переехала в менее голодный Саратов. В декабре 1918-го она сумела прислать Ухтомскому две посылки – одну с сухарями, другую с «полубелым» хлебом. Благодаря заботу, он ее инструктировал:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.